

ЕФРЕМ БАУХ



Эфраим Баух
Солнце самоубийц

«Книга-Сэфер»

1994

Баух Э.

Солнце самоубийц / Э. Баух — «Книга-Сэфер», 1994

Эфраим (Ефрем) Баух определяет роман «Солнце самоубийц», как сны эмиграции. «В эмиграции сны – твоя молодость, твоя родина, твое убежище. И стоит этим покровам сна оборваться, как обнаруживается жуть, сквозняк одиночества из каких-то глухих и безжизненных отдушин, опахивающих тягой к самоубийству». Герои романа, вырвавшись в середине 70-х из «совка», увидевшие мир, упивающиеся воздухом свободы, тоскуют, страдают, любят, сравнивают, ищут себя. Роман, продолжает волновать и остается актуальным, как и 20 лет назад, когда моментально стал бестселлером в Израиле и на русском языке и в переводе на иврит. Редкие экземпляры, попавшие в Россию и иные страны, передавались из рук в руки. Теперь один из лучших романов Эфраима Бауха (он вышел еще под «русским» именем автора Ефрем), стал доступен для всех ценителей настоящей прозы.

© Баух Э., 1994

© Книга-Сэфер, 1994

Содержание

Часть первая. Тоннель	6
Виток первый. Сны	7
1	7
2	8
3	9
4	11
5	12
Виток второй. Архипеллагра, солнечный ангел и кафедральный мрак	15
1	15
2	16
3	17
4	18
5	19
6	20
7	21
8	23
9	23
10	25
11	25
12	26
13	27
Виток третий. Виясь "Виём"	30
1	30
2	31
3	31
4	35
5	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Эфраим Баух

Солнце самоубийц

*Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!*
Осип Мандельштам

Часть первая. Тоннель



Виток первый. Сны

1

Из Вены – в Рим.

За окном вагона – ночная Европа семьдесят девятого.

Кон скорее ощущает, чем различает во мраке тяжесть горных громад, именуемых Альпами, их мертво-белое веяние, натекающее в кончики пальцев рук знакомым замиранием и покатыванием, требующим кисти или карандаша.

Но вот уже скоро полгода не брат их в руки, обессиленный ожиданием разрешения на выезд, невыносимостью прощания навечно с сорока годами отошедшей жизни, изматывающей душу предотъездной суетой.

Совсем недавно, в другом поезде, еще в той жизни, прощально пересекал он скифские пространства от Ленинграда до Одессы, затем – до Крыма, и встряхивающаяся на миг жизнь провинции, рассекаемая свистящим поездом, последний раз несущим его на юг, тут же опять забывалось в дремоте. Край случайного, погруженного в беспмятный сон огорода обозначался краем мира, Одесса обступала кавернами дряхлого камня, темными извивами скульптур: накопившаяся в них от обилия влаги плесень обдавала запахом затхлости и распада. В испуге он прилежно вдыхал этот запах, обреченно угадывая в нем затхлость предстоящей ему жизни и заранее к нему привыкая.

Поезд замедляет ход, на миг замирает у какой-то игрушечной европейской станции, пусто и отрешенно обозначившейся в этот предрассветный час.

Сидящая рядом девушка с нежным еврейским профилем и мягкой украинской речью всматривается в окно с печалью и надеждой.

Беженка-неженка.

Но не подносят на станции бабы соленые огурчики из Нежина. Поезд трогается. Сухой, фиолетово-солнечный Крым – на пути к Риму. Крым, Рим и медные трубы. Скорее – трубы каменные: тоннели. Они наступают как внезапная глухота или звон в ушах. Альпийские высоты холодят рассветной снежной белизной. Ощущение родственности с ними приходит Кону спасением от назойливо обступающей тесноты спутников по вагону, жизненной хватке которых можно позавидовать: стоит им зацепиться за любой угол, полку, вагонный косяк, тут же начинают ткать паутину, в которую жаждут уловить хотя бы толику покинутого ими уюта, и само это стремление мгновенно позволяет иностранцу отличить в них беженцев, спасающихся неизвестно от чего и едущих неизвестно куда.

Москвичи подчеркнуто растягивают слова, огораживая себя столичным говорком, ленинградцы держатся так, словно классическая безупречность северной Пальмиры является их личным наследственным достоянием и очередной заставивший их непроизвольно сжаться в темноте тоннель – всего лишь тоннель неевского канала у Исаакия, водяная подзорная труба, в которой, приближаясь и ширясь, встает Питер.

Одесситы шумны и деловиты: женщины – усаты, мужчины – носаты.

Много картавого говора.

Гнусавое бормотание под нос: "Евреи, евреи, кругом одни евреи..."

Кон ощущает себя частицей этого людского скопища, начисто лишённого умения вольно привыкать к пространству: оно обозначается страхом ограничения, болезнью непрописки, околышем приближающегося милиционера, заголовком из вызывающей тошноту газеты – "Граница на замке".

А тут – в мягкой размытости рассвета – замки на вершинах Тосканы, гнезда легенд: красно-бурый цвет древнего геральдического камня; наливающееся крепостью синевы небо; нежнокупоросная зелень виноградных лоз; средневековые стены сказок Гофмана, погруженные в меланхолический свет Леонардо.

Спасительная нерасчлененность пространства, как холодный компресс к пылающему лбу: иначе как выдержать внезапную панораму Флоренции, подсеченную не кистью, а плоскими водами Арно, и неожиданно вернувшееся прошлое, которое в миг отъезда, казалось, было стерто одним махом.

Что это? Ощущение приближающегося конца или нового начала?

Рим.

Паутина рельсов. Покачиваясь на семи холмах, всасывает он поезд вокзалом Термини, выпелкивает пассажиров из вагонных стручков, и пошла перевариваться мелочь, не дающая насыщения, в переплетениях улиц и переулков. Уже три тысячелетия переварено: руины красного кирпича и серого, как окаменевший кал, травертина, обращаются Форумом и термами Каракаллы.

Кон ощущает все симптомы болезни, называемой "сонным параличом": спит с открытыми глазами, видит и четко сознает все, что происходит вокруг, но ни говорить, ни двигаться не может, парализованный внезапной и чрезмерной дозой досознательной памяти, – а ведь всего лишь легкий укол – Колизей.

2

Схваченного сонным параличом, почти пронесут Кона, как и свои чемоданы, случайные его спутники мимо берниниевского фонтана "Тритон" и тут же нырнут в какой-то замусоренный переулок по Виа Тритоне, и он очнется в каком-то допотопном пансионе со страшным сердцебиением.

Но что могло вызвать это непрекращающееся сердцебиение, хотя он уже наглотался тайком таблеток тазепама и валерианы?

Сосед ли по комнате, лежащий ничком на своей кровати, распятие в изголовье, олеографически-склепный дух католичества, не выветриваемый из этой малой пансионной комнатки, мышинная скученность и потертая роскошь вестибюля с малиновым бархатом дряхлых кресел и старческим пигментом большого зеркала, белой, из прошлого века, входной дверью, зашелкиваемой на вышедший из моды замок, запыленные складки и фестончики портьер, замерший между этажами лифт в замысловато-ажурном корсете железной шахты? Быть может, странный, идущий из-под пола гул? Стоило распахнуть окно, и влажный сентябрь вливался мертвой тишиной первой римской ночи, начисто смывая гул.

Стоило его снова закрыть, как гул возобновлялся, сосед, лица которого он так никогда и не увидит, лежал ничком, сердцебиение усиливалось.

Или, быть может, самой естественной реакцией на великие руины великого города является сердцебиение, которое невозможно унять.

Но ведь так можно и умереть. Увидеть Рим и умереть. Так вот, невзначай, в заброшенном пансионе, с распятием Христа в изголовье и иудейской неисповедимостью в сердце блудного сына. Мгновениями казалось, он теряет сознание – от этих мыслей или чрезмерной тахикардии?

Кон обливался холодным потом, вытягивался на простынях, пытаясь расслабиться и тут же ловя себя на строках Блока и еще больше леденя...

В каких-то четырех стенах,
С необходимостью железной

Усну на белых простынях?..

Чувствуя, как пропадает, поднялся с постели, вышел в салон, с бессознательной четкостью отомкнул незнакомую дверь и, хоронясь ажурного лифта, сошел по ступеням чужого заброшенного пространства наружу, в какие-то захламленные углы.

Надо было выйти как вырваться.

Переулок пахнет гнилью.

Кон пытается запомнить какие-то контуры карнизов и балясин, чтобы по ним найти дорогу назад, и вдруг замирает на пустынно распахнувшейся площади: фонтан Треви, безводный в нулевом часу ночи, с продрогшими и состарившимися от неожиданно пресекавшегося на ночь внимания атлетами, чей облик на глазурированных открытках будит по всему миру туристскую ностальгию.

Кон всматривается в небо. Вот кто принес сжимающее грудь сердцебиение: непривычно тихие, затаенно-тяжкие облака, и в них выступающая из тысячелетних камней тишина смерти, которую только здесь дано услышать и ощутить, – смерти, такой скучной, вечной, такой настоящей...

Потом как попытка спасения – первый наскок впопыхах на Рим, проход протягивающейся через тысячелетия Слюаса Махима, чьей уцелевшей ржаво-железной дверки в подземелье Мамертинской тюрьмы он коснется, представляя со слов гида, как выбрасывали трупы замученных и казненных в фекальное течение времени, и из вони и смерти цвела легенда об Ангеле, освободившем апостола Петра, во все глаза будет смотреть он на щит, где начертаны имена казненных в этом подземелье, имена, сотрясавшие в свое время Римскую империю, – Аристокбул, Сеян, Шимон Бар-Гиора.

У Кона есть свой ангел, мимолетно схваченный и закрепленный кистью на полотне: спрятанный в багаж и не обнаруженный таможенниками, он, вероятно, едет или плывет малой скоростью.

Освободит ли он Кона?

Или для этого необходима вера апостола Петра?

На вторую ночь их переселяют в другой пансион, на Виа Кавур, и он получает угол в огромной оголенной комнате, а вокруг – подозрительно веселые лица его мимолетних коллег по ночлегу, мужчин и женщин, и, главное, опять изводящее сердцебиение. Непонятно почему посреди комнаты – биде; его пытаются скрыть от глаз, набрасывают на него вещи, а оно опять и опять бесстыдно обнажается, назойливо лезет в глаза: вдобавок в закутках что-то готовят, запахи вызывают тошноту; и опять Кон выбегает на улицу. Ступени ведут его вверх, на пустынную площадь, в распахнутые двери собора Сан-Пьетро-ин-Винколи, кафедральный мрак и ошолобление: в короткой вспышке света (турист бросил монетку в автомат) – "Моисей" Микеланджело, так вот, запросто, по соседству с биде...

3

А гул усиливается.

Уже можно различить отдельные голоса, звуки: перебранка за стеной; семья музыкантов Регенбоген разыгрывает квинтетом очередной скандал; шум спускаемой в туалете воды: унитаз за стенкой примыкает к изголовью кровати Кона, и там обычно расслаживается хорошо сохранившийся в свои семьдесят лет партийный функционер из клоак Старой площади, который едет к сыну в Америку, а его туда не пускают, Михаил Иванович (скорее всего – в оригинале Мойше Ицкович) Двускин; проблема в том, что старец никак не может привыкнуть к римским туалетам, где вода из бачка спускается не обрыванием ручки вниз, а незаметной кнопкой сбоку.

Кон все еще пребывает в сонном параличе. Видит цветущие обои на стенах, слышит все, что происходит за стенами, понимает, что ему в очередной раз снится его приезд в Рим, осознает, что он на осточертевшей квартире в Остии, на Виа Паоло Орландо, но не может слова произнести, не может сдвинуться с места.

И такая тоска, такое распластывающее равнодушие.

За стеной скандал приближается к опасной черте. Папа Регенбоген, композитор, прославившийся сочинением юбилейных опер, в связи с выездом свернул свою деятельность, превратился в придиричвого брюзгу. Он-то и начинает перебранку на фоне оперы "Паяцы", которую старший сын, дирижер, носящий имя героя "Травиаты" – Альфред, за неимением проигрывателя без конца слушает с кассеты. Младших, близнецов, мальчика и девочку, папа, воспринимающий жизнь как одну непрекращающуюся оперу, в свое время назвал – Самсон и Далила, их в обиходе кличут Самиком и Далой. Жена Регенбогена Бетя, которую он зовет не иначе как Беатрис, и дочь Дала – пианистки, и Кон испытывает мгновенный прилив счастья от мысли, что эта энергичная семья, для которой нет никаких преград, все же не сумела прихватить с собой пианино.

Изменение имен близких в устах папы Регенбогена определяет кривую его внутреннего настроения: сына Самика он зовет Сэмом, заблаговременно включаясь в тональность будущей американской жизни.

Сэм, долговязый, прыщавый необузданный юноша, единственный в семье, кто сумел прихватить с собой инструмент – скрипку. Рано утром, когда страдающий бессонницей партийный старец уходит на взбадривающую прогулку вдоль Тирренского моря, Сэм, используя его пустую комнату, начинает играть все тот же концерт Мендельсона, поначалу, как правило, пропевая на мендельсоновский мотив сакраментальную фразу: "Хаймович, Хаймович, как трудно стало жить".

Сэму семнадцать лет. Этот возраст, ни разу не ошибившись, можно дать всем юношам из России, шляющимся по Остии, ибо угроза мобилизации на действительную службу в армии заставила родителей срочно сворачивать тамошние партитуры, вещи, жизнь.

Сэма буквально сшибает с ног неумная юношеская энергия. Он неуправляем. Украдет, положим, какие-то вещи, приготовленные мамой и сестрой для продажи на толкучке, где-то их на что-то поменяет, перепродает, купит-перекупит, приволокет тайком грудку бутылок с красителями для волос и в течение нескольких часов, как чертик на пружине, выпрыгивает из туалета то ослепительным блондином, то огненно-рыжим, то жгучим брюнетом, каждый раз повергая в шок ничего не подозревавшего папу: трижды на дню при этом вспыхивает скандал, переходящий в трио со старшим сыном, а затем и в квинтет, когда женская половина семьи Регенбоген возвращается с толкучки.

Вдобавок к этому, начиненный взрывоопасной смесью одиночества и накопившейся за долгие годы партийной деятельности информации старец со свойственной этим деятелям бесцеремонностью входит в комнату Кона, садится у его постели и, не требуя даже поддакивания, начинает изливаться душу: из удушающих трюмов власти вырываются имена мелких тиранов – крупных партдеятелей, которым старец лично прислуживал, и все его пропитанные благодушным тщеславием рассказы пахнут кровью, полны хруста ломаемых костей, заглушаемого оперными ариями.

Кошмарные видения наваливаются на охваченного сонным параличом Кона...

Доносительские партитуры извлекаются из архивов.

Оперу пишут все, одну нескончаемую оперу, ставящуюся на одной вертящейся сцене огромной страны, где господствует лишь один феномен – все высвеченные сценой уносятся на Дантовом кругу за кулисы, во тьму, проваливаются в подвалы, трюмы театра, в гибель, и так – десятки миллионов.

И так смертельно понятна страсть тиранов к опере, к оперативным ариям: тонкие сладкие голоса итальянских оперных певцов несут эту вальпургиеву вакханалию смерти.

Прикованный сонным параличом к постели, Кон ощущает себя как больной в реанимации, словно бы все прошлое, настоенное на крови застенков и застенных скандалов, вливается в него по множеству прикрепленных к нему трубок, одновременно доканывая и все же поддерживая существование привычными растворами рабской жизни, и, кажется, оборви он эти трубки, его убьет не кислородное голодание, а кислородный избыток.

Внезапно – спасение: старец прерывает свои излияния бегством в туалет.

Кон усиленно представляет, как старец, чертыхаясь, в который раз вслепую ищет кнопку, чтобы извергнуть водопад в римский унитаз.

Почему-то у партийного старца это получается особенно внезапно и шумно.

Так кнопкой повергают в прах весь мир.

После этого можно только воскреснуть.

И Кон вскакивает с постели, напяливает одежды, вырывается наружу из чада, скандалов и всходящих опарой опер.

4

Пятый час. Неверный свет солнца, клонящегося к закату над приземистой крышей гостиницы "Ла Скалетта", черный мелкий слюдяной песок вдоль берега Тирренского моря, слабый накат волн, тишина. Заброшенный край набережной. Парк пиний: не кроны – сплошные птичьи гнезда.

С приближением к центру набережной оживление усиливается. Прносятся парочки на мотороллерах, у итальянок мелкие кукольно-красивые лица. Все больше и больше машин из Рима забивает берег: итальянцы сидят в них, дремлют с видом на море, читают газеты, едят мороженое, играют в карты, прогуливают собак. На пяточке – толкучка: русские евреи, смешавшись с арабами из Ирака, Ирана, Алжира, которые продают в основном похожие на шкуры ковры, в свою очередь, предлагают итальянцам, стараясь развязностью прикрыть неловкость, фотоаппараты, дорожные шахматы, русские матерчатые куклы для накрывания чайников, всевозможные значки, коробки карандашей "Самоцвет", байковые платья, туфли, часы на цепочках, набор малых и больших сверл, нитки, носовые платки, цыганские шали, даже русско-итальянские словарики, которые им выдают в Хиасе.

Бойко торгуют уже известные своей ловкостью три брата: Бама, Няма и Зяма. Женщина Эльза, которая беспрерывно попадает на пути Кону еще с подачи документов в ОВИР, торгуясь с итальянкой, продает балетные тапочки и беспрерывно сообщает всем, что едет в Лос-Анджелес.

А вот и женский клан семейства Регенбоген, вернувшийся после очередной семейной спевки. Увидев Кона, они поджимают губы, принимают отсутствующий вид: этот ненормальный художник их пугает – явный лунатик, ходит, как спит с открытыми глазами, ночью и резать может в бессознательном состоянии.

Кон идет вдоль набережной до Виа Пескатори, мимо речушки, мимо ярко раскрашенных баркасов, словно сошедших с полотен Альбера Марке, а на стенах – вдоль моря – надписи, надписи, стертые, вновь начертанные.

Война лозунгов.

"No alia mafia PSF".

"Ne le USA. Ne le URSS, Europa nazione".

"Le bombe ed il napalme non fermerano la Lotta del glorioso popolo afgano".

"Viva Komeiny"¹.

Ну, и конечно – время от времени:

"Granata ebrei!..."²

На пяточке волнение. Карабинеры. У Эльзы отобрали фотоаппарат. Говорили же ей: не клади его на коврик у ног, а носи на шее, как турист, который собирается фотографировать достопримечательности; вот и отобрали карабинеры, итальяшки проклятые, для своих нужд.

Солнце закатилось. Сумерки. Мерцание фонарей.

Кон убегает переулками к станции метро.

С первых дней на римской земле его тяжело преследует это хаотическое нагромождение чуждых предметов, начинаясь с этих груд на толкучке, продолжаясь громоздким смешением архитектурных стилей – романского, барокко, модерна – в Риме, уймой вещей в квартирах, изношенных и словно бы шелушащихся в багровых отсветах заката, обступающих единственной реальностью, на фоне которой он ощущает себя каким-то недопроявленным существом, а вокруг, угнетая и разлагая, буйно произрастают джунгли на обоях, давят темно-дубовым колоритом дома Рима, уставшие от жизни; улицы, оседающие под ее тяжестью и нескладностью, отторгают Кона как неприжившийся, чужеродный орган, и весь мир кажется ему громоздким комодом, полным изношенного тряпья, и сам он чудится себе такой ненужной тряпкой. "Там" все было тряпьем доисторическим, "здесь" все обнажилось, и каждое строение, спрессовавшее в себе тысячи лет, тычет его в собственное его ничтожество.

Он задыхается под обломками стольких веков: они стали его болезнью, они бросают ему – слабому, нищему, безоружному – вызов.

Кон вырвался из долгого рабства в надежде не окаменеть, не превратиться в животное, теперь он ищет спасения, прислушиваясь к свободе, к пьяному разгулу вечности, в надежде не потерять рассудок.

5

Порой эта дегустация Рима походит на духовное обжорство, на кревоугодие, приводящее к пресыщению. На самом деле это хуже обычного обжорства: там отделяешься отравлением желудка, здесь – отравлением всего существования.

Тем не менее полупустой вагон поезда метро, налитый до краев желтым желе света, сам себя оглушающий грохотом и мраком в узком горле тоннеля, укачивающий Кона дремотой так, что, очнувшись на миг, он уверен, что несется под Питером по направлению к Московскому вокзалу, за полчаса довозит его до станции "Колизей", проворачивает стеклянными дверьми подземного холла наружу, в прелую прохладу осенней ночи, и – прямо над головой – черная громада Колизея, гигантский колосник, в провалах которого видны осыпавшиеся горстью тлеющих углей звезды. Потрясающий мертвым безмолвием великий древний Рим вовсе не виноват в том, что Кон страдает хроническим отравлением прежней жизнью, не дающим ему без обвинений и проклятий воспринимать это величие.

Мрак, редкие фонари, палые листья, шорох подошв, изредка – с наплывом слабого ветра – морось, в пустынных пространствах у Колизея – вспышка сигареты, легкий раскат мелодичной итальянской речи, рассыпавшийся искрами женский смех.

Кон осознанно выбрал этот час, когда толпы туристов выметены подчистую, но великие руины еще не погрузились в абсолютную оцепенелость смерти. Девицы, в надежде подцепить клиента, прогуливаются мимо поваленных колонн у виа Сакра – Священной дороги, при сла-

¹ "Нет мафии КПИ (компартии Италии)", "Не США, не СССР национальная Европа", "Напалмовые бомбы не сломят мужества доблестного афганского народа", "Да здравствует Хомейни" (итал.).

² "Евреям – граната".

бом свете фонарей уходящей вверх, в мрак, к арке Тита, к развалинам дворца Тиверия на Палатинском холме.

Кон идет вниз, по Сан-Грегорио, мимо причудливо громоздящихся в полумраке фигурок на арке Константина – слева и круто уходящих в небо развалин дворцов Домициана и Септимия Севера – справа, идет вниз, в странно влекущую и обнадеживающую тьму, пахнущую сырой свежестью обрызганных дождем деревьев и трав, в долину между холмами, где раскинулось древнее спортивное поле, Цирко Массимо, обросшее по краям диким кустарником, в котором изредка мелькают чьи-то фигуры. Слышны приглушенные голоса (говорят, здесь собираются гомосексуалисты).

Кон поднимается к подножью Авентинского холма и замирает, потрясенный красно-бурым сумраком клубящихся в ночной подсветке колоссальных руин палатинских дворцов – бесконечным кладбищем, в котором целиком погребен некогда бессмертный Рим.

Кон быстро идет по пустынной дороге, через площадь Ромула и Рема, не отрывая завожженного взгляда от этого кроваво-таинственного отсвета – через огромное поле цирка Массимо – прожекторных фар гигантского многоэтажного лабиринта дворцов эпох и Юлиев, Флавиев, Северов, дворцов, прораставших один в другом, выраставших один из другого, павших под нашествием варваров, но в гибели своей воздвигших самим себе колоссальный монумент развалин, равного по величию которому нет в мире; быть может, здесь, где на миг замер Кон, столетия назад стоял Питер Брейгель-старший, захваченный зрелищем циклопических развалин, чтобы затем кистью в своей "Вавилонской башне" запечатлеть мощь и летучесть вздымающихся развалин арок и уходящие в глубь земли тоннели некогда роскошных залов и коридоров.

О, это варварски-хищное тщеславие победить смерть несоизмеримыми с человеческим рассудком каменными массами, жажда гигантизмом застраивающегося пространства вглубь, ввысь и вширь одолеть вечность и, главное, умение трезвым инженерным расчетом в сочетании с толщами бетона и кирпича, способными сопротивляться любым нападениям ветра и воды, добиться этой победы над временем.

Не учтен был лишь один фактор: тот самый человек, который должен быть подавлен циклопическим величием.

Лишь ему, скапливающемуся муравьиными разьедающими массами, толкучкой и толчением дано разъять на груды бессмысленных несообразных вещей саму вечность.

Сочинитель аллилуйных опер Регенбоген, выступавший на афишах под именем Рагин, любит повторять услышанный им от кого-то каламбур: "В Израиле – хаис, а нам нужен Хайяс"³.

Для вечности нет более опасного животного, разрушающего ее, но абсолютно уверенного в обратном: оно осчастлививает эту вечность своими музыкальными шедеврами.

Кон брезгливо ужаснулся собственным мыслям: каким витком вообще подвернуло в этот высокий миг Регенбогена.

Кон продолжает быстро идти, не замечая мороси, дыша всей грудью, и это давно неиспытанное глубокое дыхание изредка прерывается подкатывающей к горлу странной смесью тошноты и страха от чувства яростного проживания минут рядом с мертвым центром мира.

Полтора часов хватит Кону замкнуть это невероятное кольцо: постоять, умеряя и умиряя внутреннее напряжение, у Бокка дела Верига⁴, этого явно языческого барельефа, не решаясь всунуть руку в отверстие рта, вырубленного в камне, напряженно выгнув лицо вверх, где по-совиному нахохлилась высокая колокольня церкви Санта-Мария ди Космедин, подняться по изгибу дороги мимо колонн театра Марцелла времен императора Августа, над которыми

³ "Хаис" на идиш – животные (от древнееврейского "хайот"), "Хайяс" или Хиас – американская организация, занимающаяся еврейскими эмигрантами из России.

⁴ Бокка дела Верита – "уста правды" (итал.) Согласно преданию, если сунешь в эти уста руку и будешь говорить неправду, то лишишься

светятся окна сравнительно недавно надстроенных квартир, и увидеть справа над собой так по-домашнему нависшую Тарпейскую скалу, с которой в древности сбрасывали осужденных на казнь, один на один помолчать с бессмертным памятником Марку Аврелию, низко и так по-человечески сидящему на коне посреди Капитолийской площади, радоваться удивительной возможности слышать свои одинокие шаги по лестнице вниз, мимо Мамертинской тюрьмы, по Scala demonica, знаменитой лестнице стонов, на которой приговоренных к смерти милостиво оставляли умирать, и, обогнув человека с собакой, которая подняла лапу у форума Юлия Цезаря, вернуться к станции метро у Колизея.

И встанет высоко во мраке только что замкнувшееся кольцо, абсолютно и болезненно не смыкаясь с иным кольцом жизни, к которому вниз, в подземелье ведут ступени станции метро, и стражем у входа в это иное дантово кольцо существования выступает из сумрака и желтого света вагонных плафонов сидящий напротив бледный и щуплый русский еврей с редкими прилизанными волосами, с мешочком апельсинов, суетливо пересчитывающий какие-то бумажки, которые он извлекает из карманов, без конца пересчитывающий и перекладывающий из кармана в карман скудные доллары и лиретты, и что-то просительное, униженно-грустное, что-то такое беженское светится в его лице, а поезд, все убыстряя ход, катится вглубь этой жизни, как в воронку, и за бледно колышущимся лицом беспомощного стража, удваиваясь, утраиваясь, расплываясь, едва проявляются еще и еще лица, и где-то вдалеке, среди них, Кон видит собственное лицо, минуту назад еще напряженно и вольно дышавшее причастностью к мертвому величию Рима, а теперь такое же испуганное, бледное, униженно раздавленное катком неизвестности и гарантированной безнадежности.

Тоннель грохочущей металлическими скобами и сцеплениями реальности, криво изгибаясь во тьму, уводит без пересадки в мир снов, но там еще страшнее и гадливее, там страна, из которой он уехал, и она наплывает кошмарами, заливая с головой багровокрасным рембрандтовым колоритом, откуда с ласковой навязчивостью выплывает мертвенно-желтый ленинский череп, и в эти мгновения Кон в толк не может взять, спит он или бодрствует, хотя и так и этак выглядит это существованием за пределами жизни, какой-то медлительной ползучестью разложения, и он уже жалеет, что начал думать об этом, ибо последние остатки чего-то светлого и обнадеживающего – мгновения детства, творческих находок, успеха – при таком взгляде обратно выглядят рабством, несуществованием, спекаются каким-то камнем в брюхе, тошнотой отравления; все прошлое, как отравина на всю оставшуюся жизнь, и выходит, что надо обрубить его, ибо нет шансов увидеть его в свете надежды, а будущего вообще нет, единственно влекущее неким подобием радости, переживанием свободы – итальянское небо в проеме древней башни; и вновь не понять, сон это или явь, ибо мир чуждого быта крепко держит Кона за горло костлявыми пальцами партийного старца, до костей пронизывает страшный сквозняк одиночества из каких-то глухих и равнодушных пространств, и нет покрова, нет укутывающей тайны, и оголенность сводит с ума, или все окружающие его с ума походили: раньше каким бы ни было бытом, привычным рабством прикрывали некую мировую дыру, здесь же потеряли и это, лишились всякого прикола, вот и, размывая их ветхие гримасничающие жизнью лица, открылась эта дыра, зияет: и дует из нее, обдавая могилой, смешивая прекрасное небо Рима с адом обнажившейся души, мешая сон с явью...

В донном часу ночи Кон, встав со сна, идет в туалет.

Замирает, прижавшись к холодной стене: слышит, как время посвистывает в щелях, превращая в пыль дни, годы, жизнь...

Виток второй. Архипеллагра, солнечный ангел и кафедральный мрак

1

Удивительно, как может низвести покой в душу плотная стена подстриженной зелени вдоль улицы к морю, освещенная предзакатным солнцем.

На небо Мориса Утрилло – голубое с оранжевыми тонкими облаками – наплзает драматически черное небо Делакура. Берег затаил дыхание.

Главное зрелище – там, где закатилось солнце: подобие взрыва – черный гриб, оборачивающийся огромным, вполне крабом, разбросавшим клешни перистых облаков, и в голове краба – прорезь, пасть, куда заглатывается и никогда не залется море. Обычно распростертое вдаль плоской чернью, оно внезапно на миг заостряется углом в глубь этой пасти – апокалиптическим видением поверх шаркающей прогулочной набережной.

Но это всего лишь на миг.

Зажигаются фонари.

Берег темен, и все его пространство ощущается до щемящей печали в душе **домашним**, старающимся улестить окружающую ауру тревоги, невидимым облаком повисшей над утлыми убежищами эмигрантов, чья жизнь сорвана с якоря, и море пытается примазаться, войти в доверие к береговой домашности, неся свои бескрайние воды, еще насыщенные неверным светом отошедшего дня, как свой светящийся вклад в береговую спайку и даже некий элемент уюта – огонь топового фонаря на замершем у причала катере.

Мистичен сизый свет, рассекаемый грядой камней, за которой слепяще-задумчивое лезвие лагуны; песок отсвечивает фиолетовой грустью и забытём, и долгий накат волн несет успокоение, переходящее в глубокое безмолвие пустынной улочки, ведущей прямо в сон.

В сырых, дымящихся туманом каналах плещутся памятью прошлого темные невиские воды, майский холод пронизывает до костей, ладожский лед в предсмертном порыве выбрасывается на тротуар под скрежет и гул высоко идущей льдами Невы, Летний сад весь продрог, мосты горбятся, а мы, тощие и голодные, горбящиеся от стужи, одетые кое-как, умеющие небрежно и живописно мастерить себе одежды из ничего, живописцы-монументалисты, которым в будущем писать фрески на мокрой штукатурке, маслом на полотне, петровским синим кобальтом по фарфоровым плиткам, создавать мозаики, витражи, обжигать керамику в печах, вырываемся шумной оравой из родной нашей Мухинки, подобно древнеримским дворцам набитой до отказа произведениями искусства, вырываемся, взнузданные долгой кропотливой работой, как застоявшиеся кони Клодта на Аничковом мосту, и они маячат вдалеке над Фонтанкой, к которой мы бежим в сторону общежития с одной мыслью: чего бы пожрать, а в ушах все еще не молкнет голос нашего ректора – архитектора Лукина: готовьте себя к жизни с язвой желудка, ибо избравшему монументалистику надо ей отдать себя всего с потрохами.

На Дворцовой площади – залпы. Сухой декабристский треск ружей. Салют?

– Куда ты бежишь, мальчик? – мелькают две девичьи фигурки.

Окно знакомой веранды на втором этаже, осиротелое: бывало, когда приходил, мелькали в нем две девичьи фигурки, слышались голоса, смех. Повыходили замуж, уехали, осиротела веранда, осталась лишь неповторимая прелесть тех мгновений.

– Раз, два, три, четыре, пять... Вышел мальчик... Вдруг охотник... Пиф-паф...

Орава играет в прятки: мальчики, подстриженные под ежик, длинноногие девочки. Горячность южных детей: не прячутся терпеливо, а тут же выбегают из прикрытий. Их застывают...

У но, дуэ, тре, киадро, чинкве...

Почему по-итальянски?

На Дворцовой площади уйма марширующего народа. Безликая фигура выкрикивает лозунги один другого прогрессивней, но как ни силишься, не различить лица оратора, не разобрать слов, испытать внезапный приступ тревоги и... проснуться.

За окном – Остия, уличный продавец овощей и фруктов выкрикивает свой товар.

Смешение сна и яви. На Дворцовой ли, на Красной площадях вожди в роли уличных продавцов выкрикивают в голос товары, которых нет в помине, а у итальянца все есть для брюха, но пусто и грустно, и Кон между двумя мирами, и оба отвергают его, хотя внешне как бы только для него и существуют.

2

Сегодня выдают пособие в Хиасе.

Осторожно, чтобы не разбудить спящих соседей, Кон выбирается в рассветную рань. Берег оккупирован подростками: раскладывают катамараны, развязывают паруса, перекликаясь деловитыми дискантами.

Полупустой автобус везет в Рим мимо аэропорта в Фьюмичино. Низкое солнце, внезапно высвечивающее перекрестки.

Коротко пробежавший дождь вдоль сырых улиц. Неожиданно яркие фонари светофоров. И над всем – с разных поворотов автобуса – вид на далекий купол Сан-Пьетро.

Вчера под вечер, когда он шел мимо толкучки в Остии, к нему неожиданно подошла женщина:

– Вы меня не помните? – И тут же выпалила на одном дыхании: – Я из Киева, училась в одной школе с вами, на два класса младше, я тут одна с сыном, с мужем развелась...

Вот и обнаружилась родная душа.

Так, что ли, на чужбине из осколков прежней жизни составляется новая?

Или не склеить?

Он даже имени ее не спросил. Интересно, как на крутых изломах жизни резко обнажается матриархат: у мужчин от неясности, от угрызений совести руки трясутся, а женщины жесткими голосами ведут их, выкрикивают товары, точно зная, что им надо.

Утренний Рим, погруженный в золотую осень.

Низкое, неяркое, какое-то дремотное солнце, холод, колокола. На улице Реджина Маргарита, где расположен Хиас, с лотка газетного киоска – кричащие заголовки на итальянском, но, по-детски складывая латинские буквы, можно разобраться: Косыгин болен, Суслову делают операцию. Мир прислушивается к харканью и кряхтению этих жутких стариков. У входа в Хиас уже толпа. Знакомое лицо привратника: бывший главный инженер проектов Альберт Слуцкий получил это место по протекции.

Люди толпятся в плохо прибранном коридоре, в тусклой обшарпанной приемной. Какие-то расторопные великовозрастные мальчишки из эмигрантов, вовремя выучившие английский, наводят порядок в толпе. Очередная истерика. Старик, грудь в металлических бляхах и цветных колодках, собирающийся к детям, в Австралию, дергается, кричит, подхватывая выпадающий изо рта зубной протез:

– Не за то я ордена получал, чтобы мне в зубы заглядывали, как в зубы лошади... чтобы эти подонки, мать их, указывали мне...

Его успокаивают, утешают. Ему дают валокордин. Такое повторяется в разных вариантах от посещения к посещению.

Запах бедности и бессилия.

Не верится, что за стенами – золотой, вечный Рим.

Скорее бы выбраться отсюда. На Кона уже косит глазом кожевник из Вильнюса, Гоц, такой же бродяга и одиночка, он едет к брату-оптику в Чикаго. У Гоца поврежденный глаз – наследие ГУЛАГа, невероятная сила живучести и уйма кожевенных баек, от которых волосы встают дыбом, но сейчас Кон не расположен их слушать, и он спасается бегством в сторону виллы Боргезе.

3

Кафедральный простор высоких, косо поставленных сосен и пиний. Кроны, как кровли, плоски и плотны. Можно затеряться на пустынной скамье среди светлой, блестяще выплетенной травы. В гуще зелени маячат влюбленные парочки. Из соседних аллей, нагоняя дремоту продолжением утреннего сна, доносятся детские голоса:

– У но, дуэ, тре...

Тлетворно-счастливый воздух забвения в аллеях и рощах виллы Боргезе – в синеве спят каменные кони императоров и тяжело ступают живые кони полицейских, почти засыпая в глухо-зеленых чащах...

Кон украдкой огибает музей виллы Боргезе: там – берниниевский Давид, взметнувший мраморную арку над головами посетителей, огромный Моисей со скрижалями – на полотне Гвидо Рени. Кон уже побывал в музее: петлял разными залами, снова и снова подкрадывался к этим работам, испытывая почти инфантильное чувство любопытства и угрызения совести от измены, измены неизвестно чему, быть может, Иудее, которая породила этих гигантов и в глуби тысячелетий таила его, Кона, первичные гены? Именно детская серьезность этих мучений пугает его.

Дремлет вполглаза, приглушив краски, аристократическая виа Венето, набираясь сил к ночному разгулу.

На спуске к виа Криспи прямо из-под дома шлангами качают вино "мартини" в бочки, стоящие на грузовике.

Элегантно одетый старик, волосы заплетены косичкой, пьет из древнего фонтана на углу улиц Венето и Барберини.

Виа Имперiale вдоль римского Форума просквожена солнцем. У памятника императору Траяну на скамейке сидит пожилой итальянец: выгуливает собачку. Рядом араб: снял туфли, брюки, остался в кальсонах, припал к траве, молится.

Внезапно площадь Венеции забили толпы народа – то ли демонстрация, то ли празднество неизвестно по какому поводу – остановился транспорт, из всех окон, даже чердачных и слуховых, высунулись лица, крыши покрылись народом, вынырнула полиция всех окрасок и оперений – муниципальная, конная, десантники, карабинеры, сопротивляющегося Кона поволокло толпой в сторону улицы Витторио Эммануэле, отуда слышится рев и грохот барабанов, тошнота подкатывает к горлу тем же страхом, какой однажды испытал в Москве, в подземном переходе под площадью Свердлова в час пик, стиснутый и влекомый молчаливо прущей толпой равнодушных лиц, где человеческий крик о помощи заглушает стук каблуков и шорох тысяч существ, ползущих как тараканы. Кона пронесит мимо автобусов, в которых привычные ко всему римляне спокойно читают книги и газеты, а толпы продолжают натекасть из всех щелей, опьяненные **оргией праздного любопытства**, в неожиданный просвет Кон видит красное от напряжения лицо толстяка, выкрикивающего лозунги, и двух других, не менее толстых, бьющих палками вовсе не в барабаны, а в измятые баки, Кона вышвыривает в боковую, внезапно безлюдную улицу, всю в магазинах, катящую на него витринами **оргию вещей**, опрокидывающую его валом несслыханных изделий, его, только недавно вынырнувшего из скудного мира, и все эти вещи сами просятся в руки, без очереди, что потрясает сильнее неожиданно возникающих и неизвестно куда исчезающих людских полчищ, и Кон пытается унять сердцебиение в

каком-то заброшенном скверике, припоминая ставшие уже памятными некоторые мгновения в этом городе: Рим, увиденный сверху – с Яникула, чужой, прекрасный, купола в оранжевой купели заката, дворцыпалаццо, огромными аквариумами соблазна и уюта плавающие в темных водах садов Боргезе и Пинчио; девичий голос на МонтеБианко, на миг обнаживший всю остроту его одиночества: жадно хотелось после тяжелых дней отъезда, которые держали тебя все время врасплох и в напряжении чувства незаконности собственного существования, когда каждый норовит над тобой поизгаляться – чиновники, таможенники, пограничники, и тебя несет, как щепку в потоке, – жадно хотелось замереть в Риме – утонуть в чистых водах искусства, итальянского солнца, мягкой певучести итальянского языка, самыми будничными словами – к примеру, автобусная стоянка – "Фермата" – передающего бесконечную музыку окружения, то легато – медленно растягивая римскую панораму с Яникула, то начиная гнать стаккато переулков Трастевере, через древний мост, к фонтану Треви, который "ин тутти" опрокинет на тебя струи своих водометов, то погружаясь в золотую дрему висячих садов Фарнезе на Палатинском холме, где – бормотание воды, ее падение в замшелых стенах под куртинами, ее летеиская болтливость в кавернах развалин дворца Тиверия, и настороженная тишина смерти в долгом подземном ходе, в котором по преданию убили императора Калигулу, внезапный выход в послеполуденное солнце, замершее над грудой камней, оставшихся от некогда блистательного дворца Домициана с его пирами, которые казались вечными: о, римские пиры, поросшие травой, покрытые щебенкой на палатинских тропах – то ли останками черепов, то ли остатками черепков бесчисленных амфор, ваз, кубков – о, римские пиры, чье умопомрачительное великолепие обернулось глиной, прахом, пустотой, брешью, мировым отрезвлением и чувством долгих пространств после пира, утренней трезвости, обнадеживающих обещаний предстоящей жизни: вот она – толпится гурьбой назревающих дней. Одно из самых острых ощущений **полноты** жизни, ее залогов на будущее – в утро после пира, пьянки, загула...

4

Тихий переулок на холме Альбано выводит Кона через звенящее переплетение перекрестков и паутинно-блестящих трамвайных рельсов – к Колизею.

Кон идет по узким виноградным улочкам Авентинского холма, полным тишины, перекликающихся детей, дремлющих домов и собак, пустынных церквей, в которых писали свои бессмертные произведения святой Доминик и Фома Аквинский, мимо виллы Альберти, в которой жил и умер Вячеслав Иванов, совсем рядом и на астрономическом отдалении от войн, революций, разрухи, от серо-дождливого Петербурга, где имя его, казалось, было насмерть повязано с именами Блока и Белого, жил, уединившись в скорлупу вечности, рядом с Тибром, редким и ленивым перезвоном колоколов, журчанием воды в скрытых водостоках, раковинах и пролежнях старых стен дряхлого и упоительно влекущего Рима – дряхлостью вечного старца, дремлющего в вечном солнце полдня, всегда на грани руин, забвения и одиночества.

Огромные соборы святого Алексея и святого Ансельма над крутым спуском к пирамиде Цестия, у которой станция метро "Пирамида", с ударением на первое "а" – как говорят римляне, рядом протестантское кладбище – зеленый непотопляемый остров: над железной вязью ворот надпись – "Рим – это мир". Совсем недавно, казалось бы, но в ином, кометой отошедшем мире шел по Востряковскому кладбищу: вместе с женщиной с пугающе иудейским профилем посетил могилу ее отца, известного художника, подмосковная пыль ностальгически золотилась на солнце, забивала ноздри, возникало, теснило грудь, крепло ощущение двойного зрения, и здесь, в Риме, о котором он мечтал всю жизнь, оно еще более обострилось, преследует, как открывшаяся раньше, чем надо, бездна потустороннего, и все чаще на какой-то миг окружение выступает в его изматывающем, притягивающем, быть может, самом необходимом свете – раздвоенном ли, сдвоенном. Растет кладбище – в Риме, в Остии – отъезжающих из России, в

мимолетных документах которых стыдливо фиксируется, что национальность и гражданство неясны или не выяснены.

Слабый звон колокольчика нарушает покой мертвых, кладбищенский служка, не торопясь, идет по плитам аккуратной аллеи к железной калитке – отпереть случайному посетителю.

Кон бродит среди могил. Кого только не заносило на эту землю да этой землей! Могила Карла Брюллова с его ужасом "Последнего дня Помпеи", который преследовал Кона в детстве, быть может, способствовал худосочной впечатлительности на всю жизнь. Могила Шелли. Барона Врангеля. Сына Гете: степенные немки кладут на плиту цветы. В углу – могила Китса: молодые англичанки замерли, как зачарованные, шепчут, вероятно, стихи.

На свежезеленом поле разбросаны невпопад надгробные плиты ли, жизни?

Кто придет на заброшенное кладбище – в Риме ли, Остии – выброшенных еще при жизни безродных, умерших на пути из рабских земель скорби и бессилия в неизвестное Эльдorado?

В давний, такой же дремотно-солнечный день стоит маленький человек по фамилии Кон у могилы, в которую зарывают мать, в чужую столько поколений землю, повторяет за гнусавым коротышкой-евреем: "Итгада,л, вэйткадаш, е-эй, шма раба". По кому это читают кадиш, всю жизнь, будто изо дня в день хоронят?

Как это наивно и безмятежно – видеть в детстве в минуты обиды собственные похороны и испытать злорадство от всеобщего раскаяния: лучшие минуты жизни...

5

Он возник внезапно, из каменного леса могил, словно подстерегал Кона на грани того и этого мира, – горбун с неухоженной бородой, огромной шевелюрой, посыпанной перхотью и пеплом, не мытый вечность и пахнущий могилой, возник вплотную к Кону, с восторженно-остановившимся взглядом не от мира сего, громким утробным голосом сотрясая кладбищенскую тишину.

Кон, погруженный в безмолвие латинских эпитафий, вздрагивает от странных сентенций, проговариваемых русским базарным говорком:

– Я вас узнал! Вы – нашенский...

Как?!

– У вас во взгляде смесь неумеренного восторга перед этими мертвецами и тоски от них же... Ну и движения... русские, вернее, псевдорусские. Вы – еврей! Кстати, я – тоже.

– Вы откуда?

– Оттуда же. Из Остии.

– Куда едете?

– Еще не выбрал. Главное – выбрался.

– Диоген? – Кон приходит в себя, ощущая, как злость начинает раздувать ему ноздри.

– Похоже.

– А бочка случайно не из-под испорченной трески? – Только так. Иначе не отвяжется.

– Какая разница? Мыслям запах не мешает, а любопытных отпугивает. Если уж так неважно, примухайтесь к мирту: божественный запах в земной гнили... Но не отрывайтесь от земли, даже если она могильная. – Горбун поскреб грудь между черными от грязи отворотами рубахи, сверкнул крестик. – А то ведь что получается? Могильщик истории пролетариат сам провалился в вырытую им яму.

– Как вас зовут?

– Зовите меня просто: Ильич. Надо же, у человека, носящего имя Ильи-иророка, родился сын-выродок... Владимир. Не-е-т, история зло шутит с тем, кто пытается ее похоронить.

– Вы – христиан?

– Иудео-христианин, если вам это так уж важно.

Лязг трамвая срезал по кривой пасторальную тишину кладбища, и Кон внезапно замечает враждебность во взгляде горбуна:

– Здесь, на улице, шумной и праздной, наш диалог теряет смысл.

Горбун исчезает, не попрощавшись.

Так Рим все время поверяется отошедшей жизнью: она вторгается ватагой бесов в самых неожиданных местах и самым парадоксальным образом.

Туристы внезапно запруживают узкие русла улиц и столь же быстро иссякают, не внося даже капли жизни в эти каменные складки: подкладка туристского восхищения – тленный дух, пространство зримой смерти.

Странен современный Рим, его похожее друг на друга пригороды – в них чудятся мертвые однообразные скелеты завтрашнего мира.

В ослепительно-полуденном солнце притуплены на глазах зубы древних руин, и Форум раскинулся челюстью, которая, как известно, ослабляется от дряхлости и откидывается при смерти.

Над руинами роост у арки Септимия Севера тысячелетняя тишина тяжело наваливается речами и эдиктами, бывшими не более чем сотрясение воздуха и до такой степени ввергнутыми мир в тиски законного рабства.

Не проклято ли это место?

Не помогли остготы и вандалы, Аларих и Теодорих, варварская свежесть быстро улечивается из сот цивилизации, так долго и сладко дряхлеющей под средиземноморским солнцем.

Сладостной оцепенелостью, высасывающей соки жизни, обволакивает давно припасенная сознанием фраза: увидеть Рим и умереть.

Размениваться на мелочи: жить видами на прочное будущее?

Но кому-то же надо слышать смертельный гул истории!

Гул? Скулеж переселений?

Костью в горле – Остия.

Римские мальчишки, как и все в мире мальчишки, ловят зеркалами солнечных зайчиков, дразнят взрослых, выглядывающих в окна. Солнечный зайчик, бездумный и бессильный, прыгает в чужбине по развалу вещей вечной тягой в детство, в желание свернуться калачиком, как в утробе.

А на удостоверениях о смерти фото не нужны.

6

В соборы Кон заходит осторожно, бочком.

В кафедральном мраке всегда слабый, как бы взвешенный в слуховых извилинах гул, голоса людей из прошлого, доносящиеся неразличимой и невыносимой исповедью, как сквозь слой воды; на миг пресекутся, оставляя пустоту, но через некоторое время возникают вновь, приближаются, усиливаются, словно кто-то медленно и скорбно дышит над ухом. В том-то и странность: раньше, там, это воспринималось как сон, галлюцинация, бред, теперь, здесь, это – реальность.

Пересекая поездом пространства от Питера до Рима, Кон напряженно вглядывался в них – в них была скрыта будущая его судьба, звездный час его жизни, и этого было достаточно, чтобы всю свою прошлую жизнь бросить псу под хвост. И все же он боролся с этой мыслью: слишком она была не по его характеру, слишком была она безумна, эфемерна, слишком делала его зависимым от самого себя, а ведь он готов был на все, чтобы добраться до свободы.

Опять – сердцебиение.

И снова волна архитектуры выпархивает крыльями Ангелов из кафедрального мрака, из темени любой галереи, из-за любой каменной складки, выпархивает и, вопреки желанию, воз-

носит на скалу собора, на колокольню, и это кажется спасением в первый миг, когда, выброшенный из низин долгого рабства, ухватившись за шпиль колокольни, ждешь новой волны, которая с той же исчерпывающей полнотой **понесет дальше и выше**.

Но в следующий миг оказывается, что воды ушли, как растаявший снег, обнаживший собор в сказке барона Мюнхгаузена, и ты висишь на колокольне, и спускаться по лестнице равносильно возвращению в прошлое, и остается одно – отдаться безумию мига.

На древнеримских склепах – изображение плоской чаши, патеры, с монетой Харону.

Деньги на переправу я получаю от Хиаса, усмехается про себя Кон.

Иногда на него нападает безумное желание спастись, и он, перекусывая на ходу, носится по Риму в поисках работ Леонардо, того нежного, насыщенного тенями, без блеска леонардовского света, того тлеющего колорита, который мгновенно протягивается в последние его, Кона, питерские дни, с редкими прохожими на каналах и призрачным предощущением белой ночи; это ведь не просто безумие – отыскать Леонардову меланхолию и нежность, это поиски собственного детства, так полно скрывающиеся за столь меланхолическим взглядом мальчика вслед Ангелу, лучшим, что написал в своей жизни Кон.

Мальчик видит Ангела, печально прикорнувшего на краю крыши обычного дома, а вокруг – суета людей, чьи взгляды устремлены в землю, мальчик затаился, ибо понимает: единственный раз в жизни открылся ему его собственный хрупкий, меланхолический характер в замершем печальном Ангеле.

Так и остаешься на всю жизнь мальчиком, вступающим в жизнь, как впервые вступают в воду, боясь быть затянутым в омут.

Образы Нового Завета в необозримом золотящемся сумраке храма Святого Петра подступают как неизвестный палач, чье лезвие ощутил на своей шее Иоанн Креститель. Но может ли он, нищий эмигрант, позволить себе поиски этой картины Вероккьо в Сан-Сальви, где в затаившемся будущем катаклизмом пространстве вокруг Иоанна, крестящего Иисуса, рука мальчика Леонардо нарисовала Ангела? Миг прикосновения кисти к полотну – миг проживания: эти прикосновения разбросаны по миру, как и явление Ангела ребенку, а Кон уже длительное время не прикасался, а потому и не жил.

Кон опасливо оглядывается на Ангела, чьи одеяния отброшены ветром – с такой стремительностью он спустился к Аврааму, занесшему нож над сыном: этот из тех Ангелов, которые не всегда успевают отвести нож, из Ангелов угрожающих и карающих. И Кон торопится к "своему" единственному Ангелу, который, стражем у двери на купол храма Святого Петра, один догадывается обо всем, что творится в душе художника, печально и отрешенно провожая всех наверх, на высоты, к месту последнего полета.

7

Соборы, как продолжение один другого, тянутся единым каменным тоннелем, вспышки света за грош – только брось монетку в щель – и на миг выступают из мрака гениальные картины и скульптуры бесценным путеводителем вечного искусства, а валы гибели катятся над Европой, над пыльной каменной тьмой, называемой собором, в котором сидит Моисей, высвобождающаяся из камня, но не настолько, чтобы ожить, встать и мстить.

Собор как бы сбоку от течения жизни, как бы в некоей заводи, и вдруг – просверк молнии – эта скульптура, эта **складка** Божественного мира – рядом с зевающим монахом и щелью, куда швыряют малые деньги, чтобы хотя бы на миг вырвать Моисея из мрака: по-детски наивная уловка двадцатого века.

Как же видели Моисея до электричества? При мерцании свечей и факелов?

В Латеранском соборе Кон внезапно опять встречает кожевенника Гоца. Этот человек его преследует, с ходу в гулко-торжественных пространствах собора начинает рассказывать свои

жуткие кожевенные байки, и вдруг Кон, вероятно в порядке самозащиты, впадает в необузданную болтливость, чем-то так напомиनावшую давний миг в больничной палате с кладбищенскими питерскими сумерками за окнами, подобными кладбищенскому солнцу над миртами Рима, когда после курса преднизолона, назначенного против воспаления легких, ощутив боль в области сердца, бросился к дверям палаты, потерял сознание и, очнувшись, испуганно, болтливо спрашивал врача, подающего ему кислородную маску:

– Доктор, я буду жить, доктор, я буду жить?

Он обращался к Гоцу, но с таким же успехом это могло быть обращено к статуе святого, к привратнику, незнакомцу, к самому себе: я буду жить?

Гоц, в свою очередь, проявил несвойственную ему молчаливую активность: он просто волок под руку Кона через площадь, являющую образец архитектуры, искусно собранной из обломков разных времен: самый высокий и древний из египетских обелисков, вывезенных еще императором Августом, соединяется с бронзовой дверью баптистерия, взятой из терм Каракаллы, и эклектической церковью, построенной над "святой лестницей", которую привезла мать императора Константина Елена из Иерусалима: по преданию, по ней Иисус поднимался к Понтию Пилату во дворец.

Кон замирает в сумраке, тяжело сгустившемся над ступенями лестницы, по которой люди поднимаются ползком на коленях, с фанатическим блеском в глазах целуя каждую ступень, молчаливо, испуганно: аскетическое лицо моложавой, коротко стриженной женщины, сжигаемое внутренней болью.

Доползают до вершины лестницы, швыряют деньги за решетку.

В боковой темной часовне пылают красные поминальные лампы, сидят девушки, молчат, со странным потусторонним любопытством вглядываясь в каждого входящего. Кон выскакивает как ошпаренный и попадает в другую часовню, где молятся мужчины в черном, молятся громко и, кажется, в один голос, и опять – этот жуткий многоглазый потусторонний взгляд.

Гоц, бегущий вслед за ним по уходящей в закатный свет аллее, кажется ему отсутствующим.

И нет более реального и волнующего, чем чье-то смутное лицо, выглядывающее из случайного окна. Кона всегда потрясает лицо человека в окне чужого города, выглядывающее на закате: идешь, но кажется – ты врос в землю, а лицо в окне проносит мимо, как в иллюминаторе корабля, – издали оно еще лицо ребенка, полное любопытства к тебе, но вот уже рядом – и это мужчина – равнодушие и отрешенность – безразлично глядит на тебя, символизирующего внешний мир своей случайностью и анонимностью, и проносит его, и он старится на глазах, лущится, растворяется вместе с берегом, и ты останавливаешься перед водами, какими-то оловянными или пластиковыми, как в фильмах Феллини.

Так и жизнь прошла.

Так долго и незаметно.

Так быстро, как одна прогулка по улочке мимо окна с замершим в ней лицом на закат.

И ощущение, что уходящее время – не просто метафора, а четкое знание, и оно реально, как удаляющиеся за твоей спиной ворота, из которых ты вышел, – ты еще видишь их – они распахнуты, но вернуться через них ты не можешь, и относит их в вечность лунатическим течением времени и печалью невозвратимости; и вот они уже призрачны, прозрачны, это уже и не ворота, а один блик – и приходит ужас, и встает человек по крику петуха, и кузнечик стрекочет забытым будильником, ибо уже некого будить.

Разве Кон не беззаботный кузнечик в дикорастущем лесу времени?

8

И раньше – пусть редко, как пробивает внезапно слух, – приходило ощущение бега, а точнее – бегства времени, и не просто времени, а времени его жизни, но это скорее воспринималось как художественный прием, глубокий, но не страшный, перед броском к полотну.

Теперь, лишенный кисти и полотна, обступающих его привычных вещей, когда весь этот беспорядок мастерской был залогом и защитой, Кон впервые чувствует истечение времени его жизни от самых безбрежных лет детства, когда, кажется, время недвижно и бесконечно.

Это впервые остро его пронзило в циклопических лабиринтах развалин "Золотого дома" Нерона, на одном из флигелей которого был построен Колизей, а остальная часть погребена под Эсквилинским холмом. По словам гида, в этих лабиринтах можно заблудиться. Правда, можно кричать в отдушины бетонированных колодцев, выходящих на поверхность в современный сквер и покрытых металлическими сетками. Но вряд ли публика, сидящая на скамейках, парочки, лежащие на траве, услышат голос из подземелья, из погребенного мира, который еще дышит залами, бассейнами, фресками под их ногами, – развалины поглощают любой звук. Многие вообще не догадываются, что это за покрытые сетками колодцы.

Пустота во чреве города – так открывается Кону его прошлое.

Погруженные в редеющий свет дня, притягивают взгляд пустые за инкрустированными стеклами залы дворцов, и мгновенно фонтан, статуя, мост присоединяют к себе всю отошедшую жизнь – как тот берег, как запредельный фон, ту сторону существования...

Кон вздрагивает: статуя императора Августа в темном подъезде римского дома в первый миг кажется бросающимся на тебя грабителем – психология двадцатого века преобразует древние фигуры и символы.

9

И снова Кон обнаруживает себя рядом с Гоцем на открытой веранде кафе у фонтана "Четырех рек", а вокруг шумит пятачок Навона, ремесленники продают разные ручные изделия, художники зазывают прохожих, предлагая увековечить клиента. Молодые люди раздают зевакам прокламации, что-то затевается: внезапно вспыхивают факелы, начинается антивоенное шествие вокруг площади, в конце которой тут же возникает полиция, карабинеры в касках с намордниками; ремесленники бегут, сворачивая лотки, художники невозмутимо следят за сближением стихийно возникшего шествия с полицией, но шествие замирает, глохнет, выдыхается, гаснут факелы, замолкают крики, все возвращается в колею под будничные голоса Гоца. Кон даже не слышит слов, он кожей своей ощущает их жуткий кожаный ужас и кожаный мешок собственного тела, который стягивается, сечется, усыхает.

У Гоца металлические зубы и подмаргивающий глаз.

– Очутиться на пятачок Навона после сибирских лагерей. Понимаете ли, буриданов осел не бывал на Колыме: там бы он быстро понял, что такое свобода воли, надо же, не знал, какую из двух мер овса выбрать. На Колыме от буриданова осла осталась бы одна лишь кожа.

Кон физически ощущает, как ссыхается шагреньевая кожа жизни. Он ее не транжирил, как герой Бальзака, она уже была за него растрянжирена.

– В еде не хватает никотиновой кислоты. Отсюда и болезнь – пеллагра, смерть. – Гоц подмигивает.

– Меня уже списали. Верблюжий зад. А я выжил. Вы только вслушайтесь, как это звучит – **пеллагра**. Понимаете, это на всю жизнь. Куда бы ни попал – компания, абажуры, разговоры, нормальные люди, книги, музыка – я выделен. Я в ином измерении. В пеллагре, как в нирване. Это уже до смерти. Как и льды вечной мерзлоты. Они снились мне в лагере завтрашним днем.

Вырубает яму. Неглубокую. И меня – туда. Те, кто меня швыряет, – не знают, кто я. Да и что я – чурбак, заставляющий их обдираться, торчать на морозе, материться. Мат – вместо "со святыми упокой", вместо кадиша. Этот сон – хронометр моей жизни. Явится – значит, я **жив**. Прислушайтесь только, как звучит ме-е-чта-а-тельно – **пеллагра – Архипеллагра**. Ленинское "архи" плюс пеллагра – вот вам и Архипелаг.

– Вам бы это написать, – разжимает губы Кон.

– Я и был писателем. За это и прихватили. Не-е-ет. Лучше – кожевником. Миру нужен не писатель, а дерматолог, потому как мир – сплошное дерьмо.

Закат все еще пламенеет между каменными зубцами соборов.

Средневековые стрелки на башне в стиле барокко кажутся недвижимыми, словно бы солнце ухватило за них, как за рога жертвенника, и не хочет погружаться во тьму. Стрелки, подобно кистям художника, оцепенели, охваченные соблазном закрепить обилие закатных красок.

Ярко окрашенная девица в коротенькой юбочке села за соседний столик. Жутко мигнул глаз Гоца.

Никогда не знал Кон, не понимал, что означает в жизни – постоянство. Всегда понимал себя временным. Но в эту секунду он внезапно, бездумно, с невероятной остротой ощутил эту **временность**. Внезапно во всех углах отчетливо проступило: ты – временный. Беженцы в Риме, в Остии, в Ладисполи только и говорят: мы здесь временные. Но Кон знает тайну: временность эта **постоянна**. Исчезла, выдохлась надежда на перемену, ты уже не говоришь "временно" со смехом и верой в постоянное лучшее будущее, ты произносишь это слово как заклинание. Почти всю сознательную жизнь там Кон изо дня в день считал себя временным, желая вырваться. И вырвался, но тут-то истинно и в полной мере ощутил свою временность.

Кон пытается уверить себя, что он отделен от толпы, бубнящей – "временно", что он иной, что ему надо как можно скорее убраться отсюда, но в глубине души понимает, что это иллюзия, что он уже навек связан с этой толпой и деваться ему от нее некуда.

Девица в коротенькой юбке многозначительно взглянула на Кона. Господи, какое у нее ангельское лицо, как эта медово светящаяся кожа грубо обезображена красками. Девица улыбается Кону: неужели до такой степени лишена чутья, не чувствует, не видит, что Кон гол как сокол и беден, как церковная мышь. Именно в этот миг возникают мысли о каких-то главных вещах в жизни, о которых следовало бы мыслить в гарантированной ситуации, нормальном окружении. Кон же ощущает себя схваченным ими врасплох, но не в силах пресечь их самостоятельного, не зависимого от него развития, он покрывается на миг холодным потом, отчаянно завидует окружающим, погруженным в икриную суету жизни, хватается за воспоминание как за спасительную соломинку: в слякотный вечер на Невском они с товарищем по Мухинке подцепили двух девиц, завалились в ресторан; у одной, конечно же, папа был капитаном корабля на Дальнем Востоке, у другой – командиром эскадрильи на ближнем, и одна умоляла не верить другой, пока та отлучалась в туалет, но обе, как истинные патриотки, дружно ругали венгров, чучмеков, черномазых, всех этих гадов, за которых русские кровь проливали; впадали в экстаз, требовали прижать всех к ногтю, научить международной солидарности трудящихся; разгоряченные водкой, залитой патриотизмом, они, готовые продаться за грош, речами своими напоминали ораторов на собраниях протеста, более похожих на кликушеские сборища: там тоже занимались свальным грехом, отдаваясь в экстазе очередному вождю, теряя девственность своей бессмертной души под давлением насилия и лжи, припадая со сладостным страхом к стопам властвующих сутенеров, со столь же сладостной жестокостью топча их, сброшенных с пьедесталов; всеобщая проституция была одним из главных стержней жизни, куда им, будущим художникам, предстояло нести свет вечного искусства: пока же, у общежития, одна аристократически заупрямилась – потребовала, чтобы провели ее через дверь, мимо вахтерши, но другая быстро уговорила ее лезть в окно.

10

Кон пытается отряхнуться от наваждения, Кон ощущает гримасу улыбки на своем лице, обращенную к девице.

Гоц продолжает бубнить о пеллагре, трупных мистериях ГУЛАГа и коживенности мира голосом, взывающим о помощи.

– Верблюжий зад – тоже звучит поэтически, – неожиданно ни к селу ни к городу прокашливается Кон, и странное ощущение из детства вдруг накрывает его с головой своим нахлынувшим и обессиливающим потоком – острым желанием немедленно вернуться в недавно покинутое место, назад, в мир, обступающий страхом пеллагры и боязнью подхватить триппер от речистых девиц, хроническим безденежьем и сомнительным успехом на выставках живописи, посвященных революционным датам, успехом, достойным тех же девиц, – в эту же секунду выпрыгнуть на ходу из поезда, выброситься из автомобиля, выскочить из уже заревевшего моторами самолета – и туда, к отчетливо вставшему перед взором невзрачному кусту, из-за которого Бог весть когда подсматривал за девичьим силуэтом, свесившим в воду русалочьи волосы, бездумно следящим за игрой света на водах, немедленно туда, зная, что в следующий же миг пожалеешь об этом порыве, но в эту секунду, в вечеряющем медлительном Риме не надо ниоткуда выпрыгивать, выбрасываться, и, тем не менее, в тысячу раз более невозможно вернуться к мостику над каналом, на котором совсем недавно, перед отъездом, стоял ночью, стоял, не отрывая глаз от красных стен Михайловского замка, и на миг показалось – ощутил непередаваемый ужас замурованного заживо; Господи, да вся-то болезнь в том, что прощаешься с теми местами и годами навеки – это нестерпимо, противостоит душе человеческой, нельзя так – **навек**, нельзя без надежды, без взаимности, о, эта улыбка девицы с ангельским лицом и вульгарной пунцов остью накрашенных губ, улыбка в предвкушении денег, мгновенно обозначающая обрыв, за которым – мир **невзаимности**. Он ощутил его однажды как приступ в Вильнюсе, в соборе, в комнате святого, покровителя беспомощных, больных, которые приносили вырезанные из металла позолоченные образчики рук, ног, каждый прикреплял к стене образ той части тела, которая причиняла страдание, но особенно много было образчиков сердец – знаков неразделенной любви, и молодая красивая девушка иступленно плакала, била поклоны до земли, прикрепив свое "сердечко" среди множества других, и такая была в этом малом помещении спрессованность горя, боли, надежд, какую он увидел час назад, в церкви Скала Джерузалеми, когда все застегнутое наглухо в буднях раскрывалось до предела – ползущие по лестнице, их иступленные глаза боли, разочарования в ближних и жажды взаимности лишь с Всевышним, и звук падающих за решетку денег, опять денег, за которые можно купить освобождение от страданий, и алые стаканы пламени, подобные душам ушедших, светящимся во мраке.

11

Кон протирает глаза, словно бы очнувшись от глубокого сна. Гоц исчез – как растворился, как и не существовал. И девицу унесло. Вокруг все новые лица, мятые, морщинистые в свете ламп и фонарей, – собрание механических кукол, которых не может оживить даже мелодичная итальянская речь.

Кон шатается неприкаянно по пьяцца Навона, неосознанно ищет исчезнувшую девицу: ее мимолетная обращенная к нему улыбка была единственным признанием его существования за последние дни.

В дымящихся темнотой узких улочках, похожих на щели между каменными громадами, движется множество людей, и неожиданно, пусть изредка, при свете скудного фонаря высве-

тится прекрасный женский лик, словно бы вспыхнувший на полотне Караваджо в глубине темной церкви, тут же за углом, от пьядца Навона, – стоит лишь бросить в щель монетку – лик, легко и непринужденно несущий в себе живое дыхание столетий: они бродили по этим же улицам, смуглые и белолицые мадонны, занимались покупками, но главным образом **глазением** друг на друга, мимолетным влечением к мелькнувшей мимо красоте, нежности, меланхоличности, обреченности. Но самыми счастливыми и глубоко несчастными среди глазающих были художники, и так ощутимо в эти ранние часы ночи, как, отцеживаясь и воспаря золотым сном искусства, замирает вечность над темно дымящейся жизнью в узких щелях улиц, подобных Кор со, – отцеженная вечность картин, скульптур, колоннад, образуя свой прекрасный и отчужденный коралловый риф.

И внезапно вспоминает Кон минуты прощания с ближайшим своим другом: и глядят они друг на друга с сожалением, – мол, куда едешь, в пустоту и неизвестность, мол, где остаешься, в дерьме и скуке. И все же над этой сценой висит самая чистая, беспримесная – какая может быть между истинными друзьями – печаль расставания.

Где он сейчас, друг его, где и с кем завидует Кону?

Вероятнее всего с Танькой, в давние годы женой Кона, с которой он разделен и повязан заплесневевшим от времени разводом, с Танькой, страдающей от бездетности, удивительным существом, из которого вся скудость и беспросветность тамошней, оставленной Коном жизни вырывалась самым неожиданным образом: грубостью и матом в смеси с ни с чем не сравнимой душевностью, истериками и пьянкой, внезапно переходящими в монашеское благолепие, кажущееся ханжеской елейностью и вызывающее приступы свирепости у Кона. Да и поженились они как бы в шутку – художник, перебивающийся случайными, пусть иногда и "жирными" заработками, и продавщица магазина "Мелодия", продающая дефицитные пластинки из-под прилавка своим поклонникам на час и взбесившимся меломанам, продавщица с ангельским лицом и отвратительным характером, что само по себе бесило Кона своим штампованным противопоставлением, забирающим столько душевных сил, продавщица, с которой они после диких скандалов развелись через год, но продолжают быть повязанными на всю жизнь, как и с толпой, что из-за ее спины все годы обдавала его дыханием враждебности.

Танька, осунувшаяся, невесть чем измотанная, на прощание Кону с грубоватой слезливостью:

И куда тебя черт несет? Ты же себя губишь...

Я уже погубил себя из-за всех вас.

Неужели всего-то из-за того, что я вела себя как базарная баба? Из-за такой малости?

Он посмотрел на нее с удивлением, но это было только – удивление: за ним горой стояла усталость, которая, он знал, никогда не рассосется.

Теперь, вспомнив это внезапно среди осколков колонн и статуй музея в термах Диоклетиана, он вдруг с ужасающей ясностью проснувшегося в одном из стоящих рядом каменных гробов Древнего Рима ощутил, что никто ему не завидует, никто о нем не думает и, тем более, не спасет – все ушли и заняты своими, пусть и скудными, житейскими делами, – что, вероятно, Танька права, он погиб, что она своим варварским миром, как ни странно, помогала его миру – подобному этим прекрасным осколкам прошлого, но все же осколкам – держаться на плаву.

12

Румяная толстуха-потаскуха с гладко-молодым коровьим лицом и осоловевшими от жвачки глазами стоит у входа в гастрономический магазин, слева от здания вокзала Термини: это ее постоянное рабочее место. Шорты лопаются на ляжках: рубенсовская плоть рвется наружу. Итальянцы приветствуют ее по-соседски, направляясь в магазин. В чахлом скверике, вожденно поглядывая на нее, кобелятся арабы. А над всеми висит, колыхаясь в сумерках,

силуэт собора – тысячетлетней смесью укора и умиления перед святой и блудницей Марией Магдалиной.

Поезд, летящий в ночь, беспокойство, мучающее Кона своей нелепостью: туда ли едет, в Остию? И все из-за недавнего случая: на днях сел не в том направлении, внезапно увидел развалины древней Остии – мирты, кладбище – на миг показалось: везут в яму – начал задыхаться – Захламленная донельзя привокзальная площадь Остии. Слабый свет фонарей. Гоголющая ватага итальянских субчиков: "Руссо, руссо!..."

Испуганно жмущиеся друг к другу, тенями ползущие вдоль стены – мужчина, женщина, дети – семья эмигрантов, как и Кон, задержавшаяся допоздна в Риме. Ощущая уже знакомую свирепость бессилия, Кон идет по аллее, на которой табунится ватага. Расступаются почти-тельно. Вблизи лица парней вполне благодушны.

На улицах, где проживают эмигранты, пусто, безжизненно. Только старухи, подобные сгнившим пням, вырванным из привычной почвы, прихваченным в дорогу за неимением выхода, сидят у домов на каких-то диковинных скамейках, сколоченных неумело, на скорую руку, не переговариваются, не сплетничают – молча вглядываются во враждебную тьму в тревожном ожидании более молодых своих потомков, невест где так поздно задерживающихся на этой чужой земле.

Кон отлично помнит старух своей юности, своей прошедшей жизни, киевского двора, питерских квартир. Как бы поздно он ни приходил, они бодрствовали.

И сейчас они провожают его взглядами, нахохлившись как совы, подслеповато глядя вверх, словно бы приподнимая усохшие тела и огромные бородавчатые лица. Носы – клювами или вздернуты так, что ноздри – почти у глаз. Иногда лицо сморщено, как сушеная слива, иногда раздуто, как вареная брюква.

Старухи, сидящие в подворотнях жизни. Старухи, которые нас переживут.

В квартире полно народа. Партийный старец, не стесняясь присутствующих, стрижет ногти. Для Кона это – последняя степень общего падения.

Кон осторожно прокрадывается в свою комнату, прикрывает дверь, делает глубокий вздох, ощущая спасительность четырех стен, за пределами которых самодовольный здравый смысл ведет свои непререкаемые празднества.

13

Кон проваливается в постель, как проваливаются в морок и бессилие, ощущая мгновениями солнечные наплывы блаженства из такой далекой и недавней юности, и это словно волна качает его на грани то ли потери сознания, то ли погружения в сон, и длится через всю жизнь обжигающее прикосновение к его губам губ Оли, жены его приятеля, режиссера Осовского, проводившей его в полночь от их дома до стоянки такси, прикосновение, в котором внезапно выплеснулось все ее прекрасное и нежное существо, вся ее затаенная страсть, о которой он не подозревал, а затем всеми силами старался забыть, но только это не забывается, ибо за этим мгновенным обессиливающим ожогом – вся истинная его жизнь, сожженная им самим, только этот ожог породил те редкие удачи на полотне и, конечно же, "Мальчика, наблюдающего за Ангелом"; и в сумерках сознания всплывают чудными лицами иные, менее обжигающие мгновения – который раз Кон пытается выстроить вереницу прошедших через его жизнь женщин, явно кого-то забывает, сердится, сбивается со счета, начинает сначала, видит себя совсем зеленым юнцом, пытающимся снять матроску с Вики, девочки-подростка, и глаза ее близоруким так беспомощно и чудно косят из-под белесых ресниц, а за ней толпится целый выводок натурщиц, их загадочные внешности, будь то славяночка Лийка с льняными волосами или Томка, похожая на персиянку, смуглой кожей и миндалевидными глазами напоминающая врубелевскую Тамару, ее хрипотца и базарная бесшабашность, а за ней – во тьме мастерской

со всем ее потертым уютом – рванными ковриками, продавленной лежанкой, скрипучими стульями, запекшейся краской – светятся глаза Светы, ее ослепительная обнаженность и в то же время целомудренность, доставшаяся затем ее мужу, мужлану, гэбисту с руками молотобойца и лысиной существа, страдающего размягчением мозга. Но кто же лучше художника может знать тайны женского тела и раскрывать им же, прекрасным существам, то чудное, ради чего они живы и что будет похоронено в беспощадном потоке времени! Так сколько же их было – десять, пятнадцать? Явно же кого-то упустил, Риту, что ли, которая обливалась горячими слезами в ночной общежитской комнате с треснувшей люстрой, хотя Кон не был у нее первым, Нину, просто повисшую у него на шее в собственной ее квартире, где в соседней комнате пили чай ее родители, и это не давало Кону покоя, Галю, которая шла в постель с любым художником, преуспевшим на час, тая в себе бессмертную душу поклонницы изобразительного искусства? И все они были добрыми, бескорыстными существами, и все затем вышли замуж за благополучных чурбаков, а Кон все с тем же блаженством юродивого ловит себя на безумной мысли в очередной художественной галерее Рима: только потому, что не удосужился в жизни встретить женщину Тициана или Боттичелли, ему нечего делать на этой земле; и толпится весь выводок женщин в ночной мгле, и Кон думает о том, насколько ночной сумрак меняется с возрастом, превращаясь из таинственного и романтического, со звоном гитары и девичьим смехом, в черную дыру, куда его, Кона, провожают безжизненно-цепкие взгляды старух, а смешливые девицы в хороводе с примитивно вылепленными и все хранящими гибкость юности спортсменками на пьедесталах в киевских парках оборачиваются Парками, воистину ткущими холодную власяницу судьбы, дальнюю дорогу, казенный дом и гибель...

И – спуск в **сон** со спотыканием на кривых влажных ступенях, боязнь прикоснуться к осклизлым, пахнущим гнилью стенам подземелья, с внезапными сменами тьмы ночи и света дня, воспринимаемыми как погружение на дно и всплытие на поверхность, но крик тонущего застревает в горле, и подземелье само уже несет канализационным потоком Склоаса Махита Кона, выброшенного через железную дверцу Мамертинской тюрьмы, несет, мертвого ли, живого, к многоцветным дремотным видениям, и они, приближаясь, проясняются образами полотен Тициана и Рафаэля, рафинированным элем небесной нежности, медовостью красок, но... миг, и Тициан уничтожается цианистым ядом, Рафаэль заливается отбросами Рима, и невыносимость этого настолько тяжка, что жажда самоуничтожения превышает инстинкт самосохранения: успокоиться бы под камнем, а над ним молодые англичанки немо шевелят губами, а зеленое покатое поле покачивает Кона, лежащего под ним – руки врозь, как в детстве, глаза в небо, – видит в свете дня тихие звезды, тайные свечи мира, талые очи запоздалой нежности; но не так-то легко укрыться зеленым дерном, и Кон вынужден проснуться на ином этаже сна, на грязной скамье вокзала, неизвестно где, в тупике жизни, с возникающими как саднящая тупость замкнутого пространства милицейскими чурбаками, искать собственный портфель под скамьей, на заплыванном полу, чтобы найти чужой, роскошный, испытывая соблазн умыкнуть его, заставить другого искать, но другой не заставляет себя ждать – пробиравает головой газету, которую читает, как змееныш, вылупившийся из яйца, и спасение Кону приходит уносящимся в детство последним вагоном поезда, за поручни которого надо ухватиться на полном ходу, чтобы успеть быть властно утянутым в обратный ход времени...

И летят мимо станции – Невский, Подол, Андреевский спуск, Владимирская горка, Аничков мост – и вся возвращающаяся жизнь всплывает сказочным предзакатным городом из глубин забвения и запасников памяти, одиночеством человека в чужом – как на переводной картинке – городе: улицы песочного цвета, отражение летучей церкви в озере, желтые обломы развалин, шпиль (Адмиралтейство, что ли?), плывущий отдельно и вечно в облаках, внезапный крикливый обвал птиц, вызвавший появление дворника в фуражке, с пистолетом, смахивающим на глиняного петуха или свистульку, а за дворником – как мгновенно выросший сорняк – горожане с ружьями самых замысловатых фасонов – узкие длинные стволы, большие при-

клады – и все направляют их в гущу птиц, но исчезают вместе с птицами, отсеченные стеной, заросшей диким виноградом, под которой оказывается Кон – в глубине развалин с отчетливым, хотя и негромким шумом текущих вод в каменных кавернах сметенного с лица земли дворца Домициана; Кон ищет туалет, надписи неотчетливы, осторожно приближается, вдруг из дверей выходит женщина с девочкой – пигалица возмущенно щелкает языком, глядя на Кона.

Мужского нет, как это часто бывает... Кон становится за угол...

И такое пронзительное ощущение жизни в чужом городе, из-за неизвестного угла которого возникает вокзальная тележка с грудой чемоданов, на которых восседает Таня, и у нее такой молодой, счастливо-лукавый вид, волосы просвечены солнцем, и все вокруг мгновенно пронизывается молодостью и свежестью, и обжигающее чувство ревности сжимает горло Кону, он бежит за вокзальной тележкой, которую выносит на какую-то эспланаду, как на лобное место, и вдали – угрожающая темень – шевеление силуэтов ли, барельефов – дома ли это, могилы – ну да, еврейское кладбище, и голос Тани, к удивлению Кона, читающий на плитах загадочные надписи на иврите, и она, оказывается, в купальнике, но погружаться-то надо в купель. Что ж, **пора собираться на небо...**

Таня тут же исчезает.

И не с кем проститься.

Несмотря на поздний час, во всех окнах горит свет. Все заняты своим делом.

Но вот он улетает.

И все гасят свет, закрывают ставни, запирают двери.

Они, затаившись, следили за ним, ждали – когда улетит...

И теперь облегченно вздохнули.

Виток третий. Виясь "Виєм"

1

Река забвения Лета – в ржавых трубах римского туалета, пахнущего в этот ранний пустынный час всеми обитателями квартиры. Кона тревожит почерневшая от времени трещина в зеркале: хотя несет она грехи других, живших тут до него, все же как бы есть и его причастность – пусть едва ощутимая, но угнетающая – к этой примете.

Кому же из близких – угроза, если все они и так мертвы?

А он жив, хотя бы потому, что приходится выстригать пучки волос, лезущих из носа и ушей, выстригать украдкой, чужими ножницами, забытыми кем-то в туалете.

Квартира в эту рань, как непотопляемый корабль, населенный призраками, безмолвствует на плаву в испарениях сна.

Что может сниться обитателям сих трюмов, чьи луковые головы и брюха, подобные репам, словно бы сошли с полотен Босха: музыкальной семье – оснастка, колосники угрюмо обнажившей после фальши аллилуйного спектакля свои недра оперной сцены; партийному старцу – ворочающие полумиром тупорылые маховики власти в однообразных двубортных костюмах, шевелящиеся по кабинетам в лабиринтах этажей на Старой площади – в гнезде вурдалаков и ведьм – здании ЦК..

Апокалиптический сюрреализм прочно завладел миром.

Удивительно одно: как человек ухитряется жить в нем изо дня в день скучной, однообразной жизнью.

Стоит повернуть ключ, как входная дверь сама распаивается под невидимым, пугающе-тупым напором сырых, серо клубящихся полотен. То ли это привидения таращат слепые бельма.

Туман. Обложной, плотный, напористый.

Туман. По-итальянски – *Nebbia*.

Нет неба. Есть Неббия.

Неббия не было небытие.

Колизей погружен в *Nebbia*.

Цепочки автомобилей с зажженными фарами – в Неббия: странная бесконечная похоронная процессия.

Неббия возвращает всех дорогих умерших. Это их стихия. Об этом Кон знал еще там – в летейских сумерках Питера. Но вот они здесь, и Кон вздрагивает, узнавая их в убегающих от него, ускользающих мимо живых существах, кажущихся привидениями в колеблющихся полотнах белого морока, такого знакомого, с Мойки да Фонтанки, нагнавшего его в Риме, мертво пляшущего таким гоголем, Гоголем..

Зеркальные витрины отражают Кона из Неббия, его кривую извиняющуюся улыбку одинокого в чужом городе, мимо которого куда-то торопятся люди, и по их говору, озабоченности, даже шарканью ног ощущаешь их скрытую между собою связь, ожидание чего-то, тревогу за близких и знакомых, все то, что держит их в этом мире, и они все как бы шире, чем на самом деле, а он – как бы сжат, намного меньше самого себя, и все вокруг – визг дверей, свет витрин, лай собак, ругань и смех – все вне его, и выходит, что в данный миг в этом прекрасном Риме Кону ближе всего эта Неббия, бесформенная, как амеба, похожая на немо крадущуюся облачнокудрую Валькирию, да Гоголь, который тоже был одинок, да память о нищих уголках северной Пальмиры, где они кутили и пьяная Танька обзывала его "жидком", ну еще, быть может, сам Рим, погрузившийся в Неббия, но ощутимый всеми своими статуями и углами, на которые

можно наткнуться, Рим, который так легко заражается беспомощностью Кона, ибо сам беззащитно переживает собственное бессмертие, с такой тяжестью прижимающее его к земле.

О, Неббия, бесформенная и серая, как северная, российская, питерская тоска в душе еврея Кона, который не в силах освободиться от своей обостренной генетической памяти.

2

Встречи лиц из той жизни стали обыкновением в обступающей Кона ирреальности. Он даже испытывает какую-то испуганную радость, увидев рядом с колонной Траяна знакомое лицо питерца, Марка-виолончелиста. Фамилии его и не знал. Марк, огромный, рыхлый, добродушный, с ранней застенчивой плешью, рядом с востроносой девицей: черные волосы, их вороний блеск и гладкость, белое лицо, темные круги под глазами, ледяные искорки в голубой радужной оболочке. Зовут ее Лиля, Лиля Чугай. Лиловый нос от холода: встретились – Лиля и Неббия. Нос Гоголя. Она – художница из Киева. С ней легко, как-то даже слишком.

– Лиля? – спрашивает Кон. – Может быть, от Лилит? Слышали? Это была вторая жена Адама, ночная. В иврите "лайла" – ночь. Прародительница ведьм.

– А я и есть ведьма, – смеется Лиля, – ведьмочка.

Оказывается, они собираются посетить развалины рынка, построенного императором Траяном, – Меркаци Траяни. Лиля берет обоих под руки.

Оказывается, осматривать древние развалины в тумане особенно впечатляюще: Неббия – как мост, переход, субстанция, сращивающая руины тысячелетий с сиюминутной реальностью.

– Мне ваши работы знакомы, – говорит Лиля Кону, и они прыгают с камня на камень по пространству этого колоссального сооружения. Кон то и дело подает ей руку, а Марк отстает, то ли из-за неповоротливости, то ли из чрезмерной деликатности.

В огромную, гулкую пустоту, пахнущую ледяным кафелем, собора Санта Мария ди Маджоре они входят, чтобы передохнуть от чересчур въедливого тумана, голоса их оживляют это замкнутое, оголенное католическое пространство собора, как и все ему подобные не отличающее голос ничтожного существа от гласа пророка: "Моисей" в Сан Пьетро ин Винколи молчит и потому может вещать голосом Кона, неизвестного, несуществующего, вычеркнутого из всех живых списков, за исключением списка в Хиасе, где каждый раз при выдаче пособия его имя перевирают; собор перекрывает голос Кона, стирает его, Кона, его же голосом. Нечаянно кашлянув, Кон исчезает. Звук ширится, отыскивая того, кто этот звук издал: и замер тот у стены, подобно комару при свете дня.

3

Обедают они на площади Барберини в дешевой столовой самообслуживания с претенциозным названием "Парадизо" – спагетти, компот или кисель под непрекращающуюся болтовню Лили, молчание Марка и пару отлучек в туалет Кона: дает себя знать застарелое недомогание – камни в почках, побаливание в паху, только приступа не хватает. За окнами почтительно замерла Неббия в ожидании дальнейшего общения.

– Поехали на Трастевере, – решает Лил я, – в кинотеатре австралийский фильм.

Лиля ожидает разрешения в Австралию, там у нее парень: со своими родителями уехал на год раньше. Муж?

– Муж не нуж... – похохатывает Лиля, то и дело вытирая лиловый свой нос, – не муж, а – уж... не муж, а – му-му-ж... рогатый...

Трастевере, по ту сторону Тибра, узкие улочки, заглываемые туманом.

Станный фильм, пронзительно-солнечный, тревожный от первого до последнего кадра: группа школьников и школьниц собирается на экскурсию в горы. Посреди дня, на ослепитель-

ном солнце, среди скал, на виду у всех исчезают две школьницы, и все, и страшное чувство потери мучает какой-то **незавершенностью** – ведь их не нашли – какой-то потерянной навсегда, но все же надеждой.

У каждого человека есть своя точка **исчезновения** посреди мира, думает Кон, выходя из кинотеатра, замерев у витрины какого-то ресторана: рядом Лиля, Марк и багрово клубящаяся в свете витрины Неббия. Свежезамороженные креветки, омары и прочая глубоководная живность поблескивает за витринным стеклом: жили себе в глубинах и в ус рыбий свой не дули, так извлекли их на свет Божий, вот они и задохнулись. Конто ведь сам себя извлек. Нет, нет, лучше исчезнуть посреди мира, нежели быть похороненным в определенном месте: положат, и успокоятся, и забудут – всегда ведь можно прийти. А исчезнешь, и долго еще искать будут, и все будет казаться, что жив, что где-то прячешься. Ну и что, чушь какая-то.

Безмолвие, туман, размытые пятна света, слабый шум фонтана у церкви Санта Мария ди Трастевере.

– Гулять так гулять, – говорит Лиля.

Тут же, по ступенькам вниз, – клуб "Моралес", огромный подвал, забитый народом, плавающий в сизом дыме курева, оглушающий ревом трех гитаристов и ударника; стоят в проходах, сидят за грубо сколоченными столами, пьют дешевое вино "Кьянти", курят травку; к орущему в микрофон высокому длинноволосому парню, вероятно, главарю рок-группы, прилипла рослая породистая девица, стриженная под мальчика, в матросском кителе и фуражке с кокардой, ни на миг не переставая двигать длинными своими ногами, ни на миг не уставая выражать всем своим видом прямую связь с главарем рок-группы, которого высвечивает прожектор в дымном полусумраке подвала.

– Чем не шабаш? – дышит в ухо Кону горячечным шепотом Лиля, лихорадочно сверкая кошачьими своими глазами сквозь сизые клубы дыма. – Пей, вино легкое.

Окурки с "травкой" передают по кругу. Марк беспомощно улыбается. И как эти огромные ручищи могут извлекать из виолончели нежные звуки?

Вино вперемешку с "травкой" мутит голову. Мутно клубятся светом ацетиленовые фонари вдоль улицы Пилота, разрытой точь-в-точь как в Питере. Ветер несет палые листья опаловым, оловянным вялым валом за край Сенатской площади, но портики и аркады мгновенно возвращают в Рим.

И внезапно – бестолковость. Ведьминский хохот Лили: "Горилки выпили"; суета, мельтешение, головокружение, и вся серьезность вечного города замерла сбоку неким укором, как и Марк, смущенно потирающий лысину; город выпал в осадок; несет их, как скорлупу, по руслам улиц, и вертится в сознании внезапно обнаружившаяся значительной сушая белиберда, давно не приходившая Кону в голову, какие-то мысли о том, что жизнь **всегда пишется начерно** и нет чистовиков, без помарок, без отвращения вплоть до желания вычеркнуть себя самого из жизни: так правят судьбу, так ощущают ее присутствие в жажде подступиться к полотну, бумаге, хватаются за что попало – уголь, сажу, блажь, гуашь, тушь, чушь (всего-то курнул раз, и то не затянулся, не умеет затягиваться, да и не курит вовсе, а вот же, прорвало такой маниакальной легкостью, после которой только и вскрывай себе вены или читай псалтырь, как Хома Брут, открещиваясь от прыгающей на тебя с ведьминским хохотом панночки, Лили, Лилит...)

Так впервые – навязчиво – не отмахнешься – возникает Гоголь, питерский, из Неббия: маленький, болезненный, несимпатичный на взгляд человек, чье сатанинское присутствие рядом лишь однажды кольнуло на Виа Систина: хлебнув римского воздуха, Кон ходил как отравленный – бросало в жар от нежности окружающего пространства, от светлого ореола волос женщины, пересекающей в этот миг улицу, и во взгляде, провожающем ее, вдруг вспыхнуло: дом-номер-126, мемориальная доска – "В этом доме в 1842–1848 гг. жил Н. В. Гоголь, написавший здесь "Мертвые души". И Кон до того нечаянно, но отчаянно ощутил себя одной из таких мертвых душ; присутствие, веяние Гоголя мгновенно превратило окружающую неж-

ность в трагедию, в которой Кон пытался быть только зрителем, но обреченно знал, что роли не избежать. Было такое чувство, что Кона настигла та медленная, тлевшая там десятилетиями, рабская смерть, здесь-то она быстрая, и воздух поистине отравы выявленной и выявленной рабством рыбе, выброшенной на берег свободы...

Неожиданно их закружила вынырнувшая из Неббия буйная компания с клоунами и музыкантами, крикливыми, шумными; вульгарность их до того облагораживалась мягкой фонетикой итальянской речи, что их грубые жесты и ржание казались не к месту, но, сливаясь с клубами Неббия, плясали некими каприччос, гойевской жутью в обнимку с Гоголем, плясали камаринскую или сарабанду, сон разума рождал чудовищ, подобно партийному старцу и музыкальной семейке, и клубы римской Неббия, кажущиеся парами чистилища, были бессильны перед ними; единственно, что им оставалось, – поглотить эту нечисть, и в следующий миг Кон увидел себя склоненным над каменными перилами, и внизу, в прорехах тумана, ревела, переворачивалась темная вода Тибра; казалось, воздух должен прояснить мозги, но развозило все больше, ночь была нескончаема, трезвая мрачная микельанджеловская "Ночь" в обнимку с докучной, легковесной, вакхически кудрявой Неббия.

Гоголь же не отставал, приплясывая на бурых развалинах терм Каракаллы при прожекторах, подсвечивающих эти развалины, но едва пробивающихся сквозь туман, приплясывая, да подмигивая восковым веком, да приговаривая Лилиным голосом: "Дом наш у Порта Латина, Ла-а-ти-и-на..."

Зелень лужаек и мертвая багровость развалин.

В просветы сознания – темень римской квартиры, огромной, дряхлой; мир римских теней; бульканье в пролежнях дальних каких-то унитазов; Марк, гоняющийся то ли за мышью, то ли за крысой; попытка прорваться в какие-то запертые комнаты. Уводящие куда-то коридоры, туда, в дальние углы, где обретается Марк, большелобый, лысеющий, разевающий рот в глупой улыбке, добрый Марк, посреди ночи играющий на виолончели, но до него не добраться через загромождения мебели, тяжелой, бурой, через груды старых книг с тиснениями (о, переплетчики, впадающие в экстаз от вензеля и виньетки, скорбящие о скарбе, скарабеи, любящие скарб), а Неббия приникла к окнам, проникла в коридоры, анфилады – комнат ли, пещер ли, снов, нанесла плоскую питерскую жуть, серую слякоть, проколотую шпилем Петропавловки, прохватила внезапным морозом, стягивающим ноздри, убивающим энергию жизни, порождающим фатализм, тягу к убийству, к уходу под лед (Нева-невод); бежать, бежать – в детство, к солнцу, траве, запахам нагретой земли, – сердце еще юно, задыхаешься не от астмы, от радости беспамятного существования – вот как ты впервые увидел Ангела, присевшего на краешек крыши: Он ловил твой детский взгляд, притворяясь, что присел от усталости, Он ведь знал, всезнающий, что творится в твоей неискушенной душе, Он хотел к этому причаститься... Ребенок замирает, увидев Ангела, вздрагивает, как будто в один миг увидел все, что было забыто и вернулось единым всплеском, но тут же вновь исчезнет, ибо нельзя существовать в мире испепеляющего последнего знания, и, быть может, лишь ребенку и дано на миг увидеть, чтобы потом **забывать всю жизнь**, и это забывание через всю жизнь и есть истинная жизнь, а все остальное – просто существование в потоке проходящего времени Киевом-Питером-Римом, этими странными городами, которые все как бы на грани с загробным миром – своими каналами, подземными кладбищами, развалинами, туманами, Виевой жутью, **витиеватой игрой слов – Киев Виев, очи выев, с воем стягивает व्यю**, – не заспать бы это, записать бы. Да Богдан Хмельницкий совмещается с Медным Всадником, белая ночь клубится бесовщиной, о – белое страшнее черного: белые ночи, белый Ангел, белый саван, белое бегство, Белый, до белены, белого неба, закатившихся белков, белой пены у рта, белого бреда в ополоумевшей памяти, когда он лежал с воспалением легких, со вкусом меди во рту, меди, расплавленной бредом высокой температуры, меди змея с медицинской эмблемы, обвивающегося вокруг хвоста медного коня Медного Всадника, который поднял над распластавшимся в бреду Коном

булаву Богдана-во-хмелю, и растекается медь по жилам слабостью, бессилием, пластает опустошенное болезнью тело медными копытами усатых всадников с глазами вурдалаков, будь то выкатившиеся из орбит глаза Петра или скрытые в хмельных складках очи Богдана, лишь прохладная ладонь Тани успокаивает, и шелестят водой фонтанной забвенные цветаевские слова: "За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет..."

Вот и послали сад – у развалин терм Каракаллы, и Кон выныривает из сна – на запах меди от старых, почерневших канделябров в старой римской квартире – выныривает на миг, чтоб, перевернувшись на другой бок, еще глубже погрузиться, лечь на дно в своей подвальной мастерской, где бубнение живых и молчание мертвых, изматывающие разговоры с мнимыми друзьями-художниками о будущем, которого не будет, хандра в белые ночи, оскомины от этих словесных жеваний, сырость, пронизывающая каменную линейность, геометрическое безумие Питера, который сам удивляется, какую скуку в последней инстанции он породил – Октябрьский переворот – и изрыгнул его на всю Скифию; Питера с сухой пылью прозрачных сумерек, особой, после дождя сгущающейся в серые мешковатые тени людей, Питера, нагоняющего страх и поднимающего давление в сосудах мыслями о наводнении, Валтасаровыми знаками на стенах – уровнями наводнений, датами, непонятными приезжому и пугающими его; и опять – дождь, и мгла, и внезапная жара, мартовский снег, увлечение, как впадение в сон, тяжелой Кустодиевской красоткой в пять пудов, и такая вначале легкость в отношениях – ему-то ведь всего двадцать один, а ей – тридцать пять, и разрыв, и он, голодный романтик, бредящий Босхом и Гойей, бродящий у стен ее дома, как пес, переживающий инфантильные приступы неудачной любви – подследить, догнать, столкнуться лицом к лицу; как можно было существовать в этой невыносимости, не изгаляясь над самим собой?

И опять эти дружки-художники, терзающие его и друг друга хамской полемикой, похваляющиеся цинизмом и рыдающие в жилетку друг другу, и опять этот ночной Питер, кажется, всегда наполненный подозрительными преследующими тенями. Блоковские тени могли быть облаком, тревогой, мистикой. Нынче они стали вполне реальными, обули мягкие туфли, обрели облик стукачей, топтунов – так низменно обернулась высшая мистическая тревога, породившая Гоголя и Достоевского.

И опять пьянка. И опять – "тлетворный дух". И ночь не ночь, и день не день, как после тяжелой мигрени.

Красная луна.

Испитое выхолощенное пространство...

Кон вскочил, на этот раз проснувшись окончательно. Незнакомая тьма, чужая постель, окна, как бельма. Ах, туман, Неббия.

Рим.

Повел рукой. Рядом – женщина.

О, этот незабвенный плавный переход от спины к ягодицам.

Холодное тело. Опять – Гоголь. Панночка?..

Начал молиться, как Хома Брут. Наоборот: лишь бы ожила.

Проснулась. Всю трясет. Лиля-Лилит, нос увядший, совсем синий:

– Плохо мне.

Убежала в глубь забитого рухлядью пространства. Опять эти везунии римских унитазов, извержения, сотрясающие тысячелетнее безмолвие.

Это ведь какое мужество вообще – отходить ко сну, погружаться в доверительную беспомощность в чужом углу, среди чужих людей, чужих предметов, в разоре, бок о бок с тысячелетней смертью, и верить, что проснешься в своем уме. Спасение-то во сне, а сон – прошлое, жизнь, которую ты вроде оставил, но погружен по макушку, как в воды, кажущиеся спасительными. Но в них захлебываешься. Сон еще не получил притока из новой жизни, он консервати-

вен, медлителен, он еще вершится там, преображая самые печальные мгновения в нечто влекущее; эта ложь во спасение еще долго живет в тебе.

Быть может, и существуешь-то ты благодаря бодрому беспамятству и памяти снов.

Сны в эмиграции – твой дом, обитель, отрада.

Вернулась Лиля. Завернута в халатик. Что-то выпила. Чуть порозовела. Только черные круги под глазами. Огромный заспанный Марк вытягивается из берлоги, долгий и скучный, как Евангелие от Марка.

Убежала на рынок. Тут, по соседству, у стены Аурелиана.

Ну что ж, Кон, вот и возникло некое подобие домашности, ох-хо, еще как можно жить в этом забитом вещами и мебелью пространстве, отделившись от мира, как и подобает художнику, работая до изнеможения и в нем ощущая всю гамму чувств – любви, упоения, скрытой радости, всех целиком не початых и не осуществившихся надежд, ощущая себя затерянным в этом прекрасном, как забытое кладбище, городе, мечтая его же покорить и в то же время смирясь с мыслью, что этого не произойдет, живя внезапными прозрениями, выплескивающимися в красках, и вот уже все это нагромождение вещей обретает новую жизнь, как жалкий табурет в комнате Ван-Гога: разве в юности каждого не пленила до глубины души нищая судьба великого художника, ставшая мечтой, стоило ей возникнуть перед нами на холсте, залитой солнцем или безумной желтизной ночных фонарей?

Все это прекрасно, когда жизнь впереди. Гоголю было легче: за его спиной была его земля, друзья, враги, завистники. Он мог вернуться.

Ты же, Кон, в этот миг дважды безродный: был им от рождения, а теперь еще и выброшен вообще в пустоту; как и многие сюда хлынувшие, подобен пауку: для того, чтобы существовать, вил паутину в чужих стенах, начиная от одной стены, не видя другой, но надеясь, что доберешься до нее; теперь же от одной стены сам себя оторвал, а до второй не добрался, лишь одна, быть может, слабая ниточка удерживает здесь тебя в пространстве от падения. Ты надеялся, что ниточка эта прикрепится к выступу Колизея, к изглоданным временем развалинам Форума, только, не дай Бог, не к рожкам пророка Моисея в соборе Сан Пьетро-ин-Винколи, ты надеешься дотянуть нить эту до НьюЙорка, Нью-Йорика, выступая в роли бедного Йорика, вечного паяца, чей череп не устают показывать миру, умиленно чувствуя себя причастными к интеллектуалам.

Интересно, пауки тоже кончают жизнь самоубийством?

4

Вернулась Лиля, шумная, взбалмошная.

– Совсем оклемалась. – Наклонилась к Кону, взъерошила ему волосы.

Непроизвольно потянулся, потрогал нежную мочку ее небольшого, скрытого вороньим крылом уха.

– Марк, пошли пить кофе. Согреемся, мальчики, и – айда в катакомбы. Тут недалеко. Ты же из Киева, Кон, в пещерах Лавры, небось, пропадал, а? Голубчик, по носу вижу. Да и туман все равно. Уж лучше под землей...

Что еще придумает панночка?

Дальняя юность с жидким золотом солнца, стекающим с купола бело-голубой колокольни в свежую после дождя зелень, подсвеченную сизо-черными водами Днепра, Киево-Печерская лавра, более десяти куполов, сверкающих киноварью и червлением на закате; бьющее через край ощущение набегающей жизни, и – у двери в обыкновенный, казалось бы, погреб стоит длинный в черном монах, лицо его изъедено язвой, бугристо и в то же время не от мира сего, и одежда его пахнет могильной землей, затхлостью подземелий, и каждому подает монах тонкую свечу; вот уже цепочка горящих свечей, и тьма вокруг, подземные поля Мертвых, Аид,

ближний и дальний, пещеры, уходящие под воды Днепра, абсолютное царство смерти, темная и страшная загадка замуравывающих себя заживо отшельников, пытающихся таким образом замолить грехи распутного мира, загадка, которую гид, похваляющийся клятвенным своим атеизмом, изображает как курьез и сам выглядит глупым, как пробка, пляшущая на поверхности слякотного потока времени, тянущего то душными, как подземелья Лавры, годами, то промозглым Питером, плавающим полем Мертвых, без перехода втягивающим тебя в темное, загроможенное вещами логово римской квартиры с осточертевшей Неббиа за окном, легонько пробующей оконные рамы с профессиональностью домшника.

Ватное, внезапно распахнувшееся в туман пространство за древней римской стеной. Потерянно бредущая шеренга вечнозеленых деревьев вдоль аллеи к катакомбам Святого Каликта, Присциллы и Домитиллы.

Голос рядом идущей Лили доносится как бы издалека сквозь слабо длящийся обморок, озноб не до конца очнувшегося сознания: то ли простуда, то ли приступ страха перед этим нерассасывающимся туманом, этой серой массой привидений, подстерегающих на грани размытия памяти, чтобы хлынуть в нее ошметками отошедшей жизни, фиолетовым лихорадящим холодом утра, переходящим в вялую желтизну нечетного дня, желтизну, несущую присутствие Питера, его Адмиралтейских стен, желтизну ленинского черепа; обдать ревматическим дыханием невской воды, ее землисто-болезненными наплывами в Тибр, гриппозными галлюцинациями северных плоских пространств, среди которых Гойя – изгоем, слишком южным, слишком живым.

Вынырнувшая из тумана – спасением, камнем на ощупь, слишком откровенной символикой, все же бьющей по нервам, – церквушка "Кво вадис" – вопросом, заданным Христу, – Куда идешь?

По Виа Аппиа иду, по знаменитой Аппиевой дороге с видением распятых по ее обочинам рабов, бунтовщиков Спартака, огнями длинной веранды какого-то ресторана в развалинах мавзолея Цецилии Метеллы, где благодушествуют римляне среди пиршественного изобилия пищи и устойчивого климата смерти, уютно переживая голос радиодиктора, сообщающего об американских заложниках в Тегеране.

Убийственная скука примитивных фресок в полном каменного холода соборе Сан-Себастиана.

Пустота и одиночество – в преддверии сырых папских подземелий, где в каких-то трещинах все время, едва слышно, но навязчиво шумит вода. Без гида не разрешают спускаться в эти лабиринты. Маленький, сморщенный, он внезапно выносится шумной толпой туристов, хлынувшей из-за стены собора бубнением на английском, старческим шарканьем, вспышками и щелканьем фотоаппаратов. Все это, суетное, наносное, катится узкими извивающимися коридорами, переходами, спусками, мимо ниш, склепов, могил в несколько этажей, церквей, алтарей, изваяний, отторгаясь этой нескончаемой толщей мертвого мира, и голос гида – английская речь с итальянским акцентом – оловянным шариком накатанного безразличия скачет под сводами в слабом мерцании редких лампочек: "...только обследованная часть тоннелей и коридоров составляет общую длину в девятнадцать километров, пять этажей, сто тысяч могил, среди них – десять пап третьего века, из которых трое умерли мученической смертью: святому Павлу отсекли голову, она покатилась, и по ее следу забили родники; святого Петра повесили кверху ногами; с первого века до 313 года христианство подвергалось гонению..." То ли голос гида слабеет и глохнет, то ли Кон решил отстать от этой ползучей массы американских граждан, молодящихся стариков и старух, до того оживленных, что кажется, все окружающее не имеет к ним никакого отношения; впереди едва маячит белый лик оборачивающейся Лили, угадывается лысина Марка – Ознобом, холодным потом время от времени накапывает из каких-то боковых ответвлений, ходов, щелей слабый, но явственно слышимый гул, сродни тому гулу, услышанному в первую ночь пребывания в Риме, в глухом католическом

пансионе. Разве может быть иначе, когда из страны, где вообще нет истории или она заморожена, как трупы в вечной мерзлоте сибирских лагерей, попадаешь в страну, где подземный гул и сотрясение истории колышут почву под ногами, выбивают пробки из лабиринтов слуха и памяти, влекут загробной тайной и тленом, отталкивают долго длящейся попыткой обставить смерть с большей обстоятельностью, чем жизнь, всеми этими порталами, карнизами, барельефами, камнями, змеями, голубями, грифонами, медузами, высеченными на могилах, на стенах саркофагов, всем этим ползучим и вкрадчиво-гибельным; о, несомненно, сюда спускался, здесь пропадал Гоголь, здесь ему мерещилась лесенка – ступени из "лучшего мира" в суетный, земной, были его ступенями в жизнь; одного не хватало – летучести – все было тут прекрасно-мертво, так и тянуло припасть губами к тонко изваянным две тысячи лет назад пальцам ног девушки, чей беломраморный облик скорбно свернулся на собственной могиле, Господи, ко всему не хватает еще некрофилических порывов, но ведь это пальцы ног панночки, которая в эту ночь спала рядом с тобой, так же свернувшись в постели; коснуться губами этого мрамора мешает ветхость собственной жизни, и в этом – спасение...

Ступени – вверх, вверх – к дальнему – слепым бельмом – выходу. Неббиа тут как тут, неумоима и так же молода. Горят фонари вдоль улиц в полдень. Остановился транспорт: на улице Тритоне столкнулись два мотоцикла, лежат на боку, как бегемоты, карабинеры, поблескивая крагами, тянут ленту, что-то вымеряют, набежавшая толпа обмирает в глазении, пропадая от любопытства в тумане.

– Ты все время бормочешь о Гоголе, – смеется Лиля, – пошли, тут рядом кафе "Эль Греко", там даже место отмечено, где он сиживал.

В кафе полумрак под стать темной мебели. Напротив восседает Марк, огромный, похожий на Тараса Бульбу.

– Это Гоголь отравил меня, – говорит Кон, – влил в меня ностальгию, повел из Киева в Питер, из украинской ночи леших в питерский туман вурдалаков.

Марк, молчавший все эти дни, внезапно раскрывает уста:

– Ностальгия? Тоска? Да по чему?.. По фальши и жестокости? Опять – Эрмитаж, опять – колдовство Невского. Да все это разбойничий вертеп, Большой Дом, заламывание рук и проламывание черепа. И не Гоголь там нужен, чтобы изобразить все это, а Босх.

Сказал и замолк. И больше слова не скажет, и опять исчезнет в своем логове, и ночь вместе с Лилей горячкой объятий и холодом рвущейся в окно Неббиа будет колыхаться на мягких звуках виолончели, так и уплывет в сон, а там едва мерцают колоннады Бернини на площади Сан-Пьетро, их тени – омбро или умбро (название краски или страны: Умбрия), длится импровизация: ластится Лаций, солнечной отрешенностью тоски залиты верхи Тосканы, покой – успокоение ли, успение – еще чуть, и тебя нет – и тогда легкость печали и затаенного счастья делает тебя подобным ангелу, и выход из сладостного оцепенения похож на испуг, и долго смотришь в медовую синь неба, успокаивая сердцебиение, но опусти глаза, оглянись: сырость и молодость, приземистые жалкие хибары в пригородах Питера, провода на фоне землисто-оранжевого заката, вербы, свечи на кладбищах, лужи, зябкость, запах квашеной капусты, вкус ее после водки, какие-то редкие, тут же себя забывающие крики, зимние посиделки с ней в Летнем саду, ветер, ветер, белый снег и душный молочный рассвет; одинокое просыпание в мастерской: месяц, пиратом заглядывающий в окно, сырость финских мест, приходящая ознобом и тревогой.

5

Кон внезапно и окончательно проснулся посреди ночи: то ли звуки виолончели пресеклись, то ли Неббиа отступила от окон, сникла, свернулась и уползла.

Кон лежал с закрытыми глазами, но так оголенно, с отчетливым могильным холодом ощущал ту жуть, с которой мерещилась Гоголю в католическом Риме "виевская реальность"; эта жуть убивала его, стала тем, что он выразил, сам умерев, но оживив ее, как панночку, ведьму, Россию.

Синдром Гоголя.

Где-то скреблись мыши под полом, древоточцы – в мебели; незнакомый, неожиданно жаркий в это промозглое декабрьское время ветер, прогнавший Неббия, более нагло и деловито пробовал расшатать фрамуги окон.

Кон осторожно, с каким-то бессильно сдерживаемым отчаянием приложил ладонь к заголившемуся, обжигающему жаром, нежностью, спасением бедру спящей рядом Лили, чувствуя отчетливо, холодно, как приближается нечто ночное, кошмарное: еще миг – и из-под стольких закрытых на ключ, а то и законопаченных дверей в другие помещения, не сдаваемые хозяевами Хиасу, из каких-то паутинных закоулков этой затхлой чужой римской квартиры вынырнет вся нечистая сила, для которой не существует границ, вот она уже наваливается на грудь тяжестью, слабостью, потом, сердцебиением; только не открывать глаз, не поднимать век, ибо вот он – явился – Гоголь – остроносый и мертвый, тихий, похожий на какое-то корневище, только нос Буратино чрезвычайно его омолаживает. Гоголь молчит, но у него нутряной голос. Приходящий эхом ли, ознобом? – "Поднимите мне веки! Не вижу! "

Не открывать глаз: не быть обнаруженным. В чужой квартире или вообще неизвестно где, растекаясь амебой, Кон умоляет остроносого мертвеца, вышедшего вместо панночки из гроба, оставить его в покое, ведь он не Хома Брут, он – потомок жидконового жида Янкеля, такой же смешной и беспомощный.

Кон бормочет про себя некое подобие молитвы, то, что может быть спасением, но ему неизвестно: те, кто знал молитву и мог спасти его, – дед его и бабка – ушли под землю, им же осмеянные, и в этот миг противостояния лицом к лицу с другим таким же весельчаком и насмешником, пытающимся у него, потомка Янкеля, вымолить прощение, сухая душа Кона оказывается банкротом.

О, этот весельчак Гоголь, вбивающий кол в собственную могилу, читающий сам себе заупокойную молитву хохотом и весельем казаков, швыряющих жидов в Днепр.

Но почему у весельчаков глаза стекленеют, тело, Вием овеваемое, мертвеет? Ощущает он глубиной своей души, что дешевая это оговорка, что чем она больше втягивает его, тем страшнее будет расплата.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.